КОСТРОМСКИЕ ПИСАТЕЛИ ЗНАЮТ И ПОМНЯТ

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ И ДОЛГА

Второй специальный выпуск



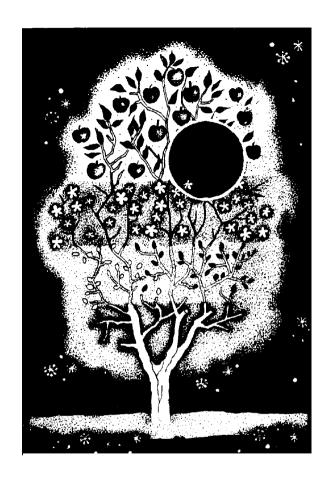


Кострома, 2010 г.



Рисунок из книги Л.Кузьмина «Салют в Стрижатах»

 $^{{\}Bbb C}$ Составитель и главный редактор проекта М.Ф.Базанков ${\Bbb C}$ Костромская областная писательская организация, 2010

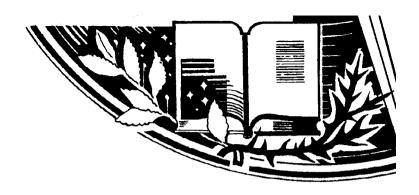


Поклонимся великим тем годам: Тем славным командирам и бойцам, И маршалам страны и рядовым, Поклонимся и мертвым и живым – Всем тем, которых забывать нельзя, Поклонимся, поклонимся, друзья. Всем миром, всем народом, всей землей, Поклонимся за тот великий бой!

Анатолий Передреев

Я УЧИЛСЯ ПИСАТЬ

Я учился писать... Мимо школы — колонны, колонны Колыхались рекой И впадали в невидимый фронт... Я учился писать Не спеша, с нажимом, с наклоном. И скрипело стальное Защитного цвета перо. Я учился писать... Лихорадочно били зенитки, У войны отвоевывая Островки тишины, И таскал я в карманах Тяжелые рваные слитки, Как горячие метеориты войны. Я учился писать... Где-то плавились танки, Где-то люди кричали, Умирая в огне и в дыму... Я учился писать Изложения о Каштанке, Я учился страдать Над судьбою Герасима и Муму. Я учился писать, И хрустящие хлебные карточки От себя отрывала По клеточке Мать. Чтоб меня не тошнило, Чтоб меня не шатало за партою... Я учился писать!..



От составителя

НАПОМИНАНИЕ

Памятный поклон от наследников Победы. Вечная благодарность и Слава всем, кто выстоял, перетерпел, дошел и дожил до этого дня... Благодарная память всем, кто в братских поименных могилах или без почестей неизвестными закрыты навсегда... Всем, чьи голоса еще доходят до детей, внуков и правнуков. Это голоса наших дедов, отцов и старших братьев, они остались под Брестом и Москвой, под Новгородом, Севастополем, Орлом и Курском, Ленинградом и Сталинградом...Остались по всему фронту, что от моря до моря держали, а потом пробивались к логову врага на суше, на воде и в небесах от Москвы до Берлина...Еще есть кому помнить каждого, кто не вернулся. Каждого неизвестного... «Его зарыли в Шар Земной, А был он лишь солдат.../ Простой солдат/ Страны родной/ Без званий и наград...» (Вольно цитирую поэта с гордой орлиной фамилией).

Мировая война — миллионы погибших, варварские разрушения, потери, страдания, голод, сиротство, затяжной, еще не исследованный, трагизм безотцовщины. Думая о цене Победы в Великой Отечественной войне, понимаешь: беспечальное бодрячество ложно, а впадать в глубокое уныние на радость врагам опасно — только этого и ждут служители

теории «золотого миллиарда», мечтающие о мировом гостеории «золотого миллиарда», мечтающие о мировом господстве. Наш дух укрепляет исторически укорененная национальная гордость за каждого достойного фронтовика и труженика тыла, за народ, объединенный в грозные годы любовью к родной земле, осознанием единства в Отечестве. И в глубоком тылу даже дети осознавали правое дело, верили: враг будет разбит! Потому теперь в особом самочувствии повторяем: «Мы великой надеждой больны...Мы

 подснежники, мы – из-под снега, сумасшедшего снега вой-—подснежники, мы — из-под снега, сумасшедшего снега вои-ны...Доверяя словам и молитвам, не требуя блага взамен, мы по битвам прошли, как по бритвам так, что ноги в крови до колен...»/Владимир Костров/. Не потому ли бывает обид-но замечать какие-то барские, чиновно самодовольные кри-вые усмешки при упоминании о таких «подснежниках» или о необходимом внимании к детям войны – наследникам Победы...Мы из трагического детства, из поколения поднимающих, отстраивающих страну, и не колеблемся в наследственной верности Отечеству.

Движение к юбилею Победы опять затронуло, повернуло наши творческие интересы именно в сторону внимания к

ло наши творческие интересы именно в сторону внимания к детям военного времени, к тем, кто возрастал в трудах и заботах при многих испытаниях тыловой жизни и в первые мирные годы. Мы приняли творческую литературную эстафету от писателей, прошедших войну. Может быть, кому-то показалась тема наследников Победы, пришедших из трагического детства, преждевременной и она не получила еще необходимой поддержки на административных этажах. Но вот что тревожит: вот уже и люди нашего поколения завершают свой земной путь без необходимого внимания, оно опять очень часто опаздывает.

Наши ровесники по объективным обстоятельствам с опозданием начинали реализацию таланта и уходят с неосуществленными замыслами. Наступила полоса прощаний со знаменитыми земляками. Не утихает печаль утрат...
Видимо, у детей военного времени особый болевой порог. По воспоминаниям фронтовиков, по солдатским письмам остро чувствуем и понимаем какой ценой завоевана Победа. Каждое сраженье – огненные жернова, каждый неравный бой – кромешный ад. И раньше, еще до первого боя, призванный

солдат знал во имя чего стоит на рубеже... Таковы свидетельства многих писателей и поэтов, испытанных ратным трудом. Потому сыновней памятью и поэзию по-особому чувствуем, понимаем так, что перехватывает дыхание. «Я убит подо Ржевом,/ Тот еще под Москвой./ Где-то, воины, где вы,/ Кто остался живой?/... Нам свои боевые не носить ордена./ Вам — все это, живые...» (Александр Твардовский-)...На фронте и в тылу ковалась общенародная Победа. Но все-таки у каждого из живых и павших была своя война. Для некоторых пришедших домой после девятого мая она сказывалась неизбывными личными, семейными трагедиями. Болевая эта беда отражена в сочинениях детей и внуков.... Что происходило с человеком на войне? На пороге жиз-

Что происходило с человеком на войне? На пороге жизни и смерти о чем страдала его душа, куда обращался его памятливый взор, какие слова и жесты родных доносились из мирной жизни? Что происходило с теми, чье возвращение в родные места на годы задерживалось? Такие вопросы в сводках и докладах не зафиксированы, они возможны в неспешном осмыслении пережитого, в документальных и художественных свидетельствах, необходимых сегодня для осознания глубинного течения войны, ее физических и психологических последствий, для осмысления народной правды и международного общечеловеческого значения нашей Великой Побелы.

Осознан нравственный долг фронтового поколения – рассказать о пережитом, что видели, прошли, испытали, что чувствуют сейчас, размышляя о будущем Отечества. Они ворошат жар великой и страшной войны по праву памяти и долга в психологической достоверности, которая не допускает лукавых корректировок. Мы ценим эти признания, постигаем тайны мужества, героизма, любви к родине, прислушиваясь к суровой правде, по возможности и в меру дарованного свыше пишем свои страницы, чтобы не прерывалась связь... Впечатления детства с годами вспоминаются все чаще с новым осмысленным содержанием. Никто за нас на таком болевом опыте этого не сделает. Потому творческие люди по штрихам каждой военной судьбы размышляют о предшественниках и современниках: какие они в тревогах, мечтаниях, в ненависти и любви?

Помним писателей фронтового поколения, представлены знаменитые земляки в изданиях писательской организации, в ежегодном альманахе «Кострома», в Антологии костромской поэзии. Участникам войны был посвящен сборник в 2005 году и этот, второй выпуск, сложился для напоминаний о фронтовиках и детях военного времени.

* * *

Вечные огни на могилах неизвестных солдат... Мемориалы...Братские могилы... Памятники, обелиски на истерзанной, опаленной земле. Ограбленные, разрушенные города, уничтоженные селенья... «Не счесть, не соизмерить оком». Не вычеркнуть из памяти. Кованые сапоги фашизма еще вывертываются на пахотных полях, гуляет по лесам эхо гитлеровских призывов на Восток. Перед памятью миллионов павших невозможно предать забвению народную трагедию. Забыть нельзя. И мы не позабыли. Коварное нашествие сказывается в судьбах других поколений даже на генетическом уровне. Преемники патриотических традиций, унаследованных от лучших сынов Отечества, надеются, что высокие государственные деятели когда-нибудь провозгласят заглавными трудовые созидательные ориентиры на будущее и постепенно выстроится психологическая атмосфера, в которой будет невозможно кичиться забвеньем прошлого, «выпячиванием личного богатства, избыточного потребления и праздности».

Михаил Базанков, апрель 2010 г.



война и мир

война и мир

Новаторство Толстого в изображении войны заключалось также и в том, что война показывалась им с самых различных точек зрения. И с детски наивной позиции Пети Ростова, и с трезвой точки зрения Андрея Болконского, и с точки зрения профессиональных немецких военных, для которых война — это плод умственной и бумажной стратегии. Наполеону война представляется как интересная шахматная партия, которую во что бы то ни стало надо выиграть. А для Кутузова и простых русских людей, глубоко чувствующих свою ответственность перед Отечеством, война 1812 года — это тяжелая, вынужденная необходимость защищать свою родину от захватчиков...

В 1942 г. в предисловии к книге «Люди на войне» Хемингуэй писал:»Я не знаю никого, кто писал бы о войне лучше Толстого, его роман «Война и мир» настолько огромен и подавляющ, что из него можно выкроить любое количество битв и сражений, — отрывки сохранят свою силу и правду, и проделанное вами не будет преступлением (...) Я люблю»-Войну и мир» за удивительное, глубокое и правдивое изображение войны и народа...»

По книге «Толстой и наше время»

Примечание. Но этот народ с разных сторон узнал и другую войну, другую Великую Победу!

ВСТУПЛЕНИЕ К ТЕМЕ

Из предисловия к книге «Василь Быков»

...Появление бодрых реляций в стиле Вс. Крестовского было по-своему естественным и закономерным; сказывался не только чей-то дурной вкус и корыстный расчет, но, прежде всего, уровень общественного самосознания, господствующих иллюзий и увлечений.

Небесполезно вглядываться в старые батальные картины; они позволяют почувствовать разделяющее и соединяющее нас историческое расстояние, различить в них опыт литературы, а иногда и предостережение ревностной службе не Времени, но Минуте с ее властными претензиями и близорукостью...

Но пора возвращаться в день нынешний с его новым опытом войн и революций, с нелегким грузом его народной памяти, с его стремлением знать всю правду о последней пережитой войне, чтобы ничто в этой четырехлетней борьбе не на жизнь, а на смерть не было напрасным, не прошло бесследно, впустую для современного человека и его будущего. Пора переходить и к герою этого повествования, к его книгам, к батальным картинам новейшего времени.

На вопрос о близких ему литературных традициях Василь Быков в 1965 году отвечал: «Как и каждому фронтовику, мне близки в изображении войны все правдивые, гуманистические традиции – прежде всего опыт Л. Толстого».

Позднее, отвечая на подобные вопросы В. Быков называл имена Ф. Достоевского, А. Чехова, Э. Хемингуэя, из белорусских писателей – К. Чорного, и всегда вспоминал Л. Толстого. Свою «зависимость» от литературных учителей он объяснял так: «Учиться у классиков – это не значит перенимать их технологию творчества, осваивать их приемы. Это нечто гораздо более широкое и значительное: уважение к правде, проповедь гуманизма, понимание общественного долга литературы и писателя...» В. Быков неизменно выделял в классическом наследии именно это: «все правдивые,

гуманистические традиции». Он писал, что у Л. Толстого его «привлекает всеобъемлемость и глубина жизни, а также человечность. ..»

То есть в классических, и прежде всего в толстовских, традициях В. Быкова более всего привлекали этические, нравственные основы художественного постижения жизни и человека. Все остальное представлялось зависимым производным от этих основ. В свое время В. Быков не стал даже обсуждать отдельно «искания в области художественной формы», о которых его спрашивали. Он сказал только, что «форма не имеет самостоятельного, решающего значения – было бы честно, правдиво, художественно».

Когда вот так, не боясь упреков в упрощении и словно надеясь, что нужная жизни идея сама себе найдет нужную форму, настаивают на честности, правде, гуманности, общественном долге, то все это начинает звучать как обязательство следовать определенным творческим принципам. Если же из ряда известных понятий и представлений, важных для литературы, ее развития, настойчиво выделяются лишь некоторые, то это обычно связано с убеждением, что эти понятия и представления недостаточно утверждены в литературной повседневности, а может быть, оспариваются или понимаются превратно.

В «Трех абзацах автобиографии» (1966) В. Быков назвал «неудовлетворенность» многими книгами о войне, «основанными на широко распространенных в то время литературных схемах», одной из причин, побудивших его написать Первые рассказы 1951 года. Еще ранее он опубликовал статью «Живые – памяти павших» (1965). Из нее становится ясно, какие схемы имел в виду писатель и почему так настаивал на уважении к правде.

«Сороковые годы дали нашей литературе ряд замечательных образов героев, – писал В. Быков, – мы привыкли за много лет к мужественному неунывающему рядовому Василию Теркину, к деятельным и высоконравственным героям О. Гончара, к несгибаемому в своем священном стремлении стать в строй бойцов Мересьеву, к мужественным разведчикам Эм. Казакевича». Однако «правда о войне, о подвиге народа была высказана далеко не вся, далеко не

полно». Эту неполноту можно было понять, как-то оправдать (писатели шли «по горячим следам событий», не имели «ни времени, ни возможностей для осмысления всех проявлений войны» и т. д.), но согласиться, примириться с нею — значило бы для В. Быкова изменить своему опыту, памяти, совести. В этой статье В. Быков — кажется, единственный раз —

В этой статье В. Быков – кажется, единственный раз – выступил прямым критиком не правдивых, не честных, не художественных произведений о войне. Он свел воедино какую-то часть распространившейся неправды и писал о «предвзятости идей и схематичности образов», о картинах «борьбы», которые выходили «бледными, лишенными убедительной достоверности». Он воспроизвел типовые описания героизма пограничников, артиллеристов, летчиков, политработников, партизан и воскликнул: «Откуда это? Из информации фронтовой печати? Из донесений бездумных репортеров?»

Увы, это были описания, которые порою предлагались читателю как «художественная летопись героической борьбы» или как «сказание о партизанах». В. Быкова удручала и возмущала бесчувственная, безоглядная бодрость тона, лихой язык «благополучно-героических штампов», не требующих ни знания войны, ни труда. То, что доставалось человеку тяжело и совершалось на пределе его возможностей, сплачиваясь кровью и гибелью, представало вдруг само собой разумеющимся, должным, как бы даже предусмотренным, единственно возможным, абсолютно логическим и образцовым до святости...

* * *

Категорические суждения уязвимы; ополчаясь против упрощенного изображения войны, писатель и сам что-то спрямлял и опускал, объясняя состояние «военной прозы». Он, в частности, недооценивал способность истинного художника пробиться через документ, через свидетельские показания к правде прошлого, к реальному содержанию войны. Но В. Быков верил, что книги художественно одаренных рядовых участников боев, вместившие их личный опыт, преобразят литературную картину войны, представив ее под углом зрения воюющего солдата или офицера. И он не ошибся.

НА ВСЕХ ОДНА ПОБЕДА...

* * *

Нет никаких оснований сомневаться в рассчитанной демографами-профессионалами цифре общих потерь Советского Союза. Согласно уточненным последним расчетам, сделанным российскими демографами накануне 60-летия Победы, цифра общих (гражданских и военных) потерь Советского Союза во Второй мировой войне (включая потери на советско-германском и советско-японском фронтах) составляет 26 млн. 452 тысячи человек. Она была получена на основе сопоставления данных переписей 1939 и 1959 г., причем данные переписи 1939 г. были скорректированы по переписи 1937 г. В эту цифру входят безвозвратные военные потери Советских Вооруженных Сил, не боевые потери Вооруженных Сил, а также потери среди гражданского населения, как на оккупированных, так и на не оккупированных территориях вследствие боевых действий, воздушных и наземных бомбардировок, карательных немецких акций, повышенной смертности от голода, хронического недоедания, непосильной работы, болезней, ужесточения режима для заключенных в местах лишения свободы и т. п. В число общих потерь входят также лица, пропавшие без вести, в частности, угнанные на работу в Германию и оставшиеся после войны за границей. Таким образом, большая часть погибших, входящих в общую цифру советских потерь, - это не военные потери, а потери среди гражданского мирного населения, составляющие около 18 млн. человек, непосредственно уничтоженных немецкими захватчиками или погибших в результате последствий немецкой агрессии и оккупации. Иными словами, большинство советских потерь в Великой Отечественной войне – это жертвы жестокой политики геноцида, проводимой Германией в отношении гражданского населения СССР, причем больше всего погибло славян, которых немцы рассматривали в качестве низшей расы, подлежащей уничтожению. Ставилась конкретная цель - очистить завоеванную немцами территорию от «излишнего, расово неполноценного туземного населения». Кроме огромных людских потерь, на территории Советского Союза немецкие захватчики разрушили 1710 городов и поселков городского типа, сожгли 70 тысяч сел и деревень, взорвали 32 тысячи промышленных предприятий, уничтожили 65 тысяч километров железнодорожных путей, выкрали и вывезли в Германию неисчислимое количество культурных и художественных ценностей. И хоть Германия сейчас наш партнер, забывать о прошлом нельзя, забвение было бы предательством по отношению к нашим погибшим

Журнал «Наш современник», №1, 2010 г.

Александр Зиновьев

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(Присланы М.Ф. Базанкову из Мюнхена в октябре 1991г.)

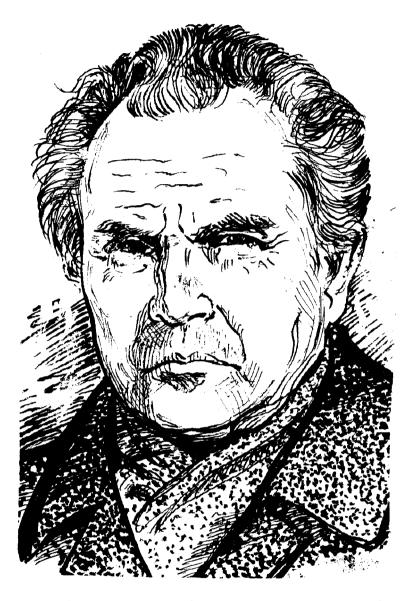
ДЕТИ

Моя мать родила одиннадцать детей. Первого в 1910, а последнего в 1935 году. Двое детей умерли маленькими в годы войн и голода. Младшая дочь умерла в двадцать лет из-за халатности врачей. Старший сын умер в пятьдесят шесть лет от рака. В момент написания этой книги в живых оставалось семеро. Все дети моих родителей вместе произвели на свет лишь пятнадцать детей, т.е. почти два ребенка на семью. А у внуков эта величина и того меньше. Факт характерный. Хочу заметить к сведению горбачевских теоретиков, увидевших причину снижения рождаемости в России в пьянстве: все мои братья и сестры были трезвенниками, пьянствовал один я, что не помешало мне произвести на свет троих детей. Я мог бы произвести тридцать, но этому воспрепятствовали соображения социального расчета и морали, а не водка.

Мой старший брат Михаил (1910 — 1966) в двенадцать лет уехал с дедом и отцом в Москву. Сначала работал подмастерьем с ними. Потом стал учиться в вечерней школе и одновременно в профессиональной школе при мебельной фабрике. Вступил в комсомол. Добровольно работал два года на строительстве Комсомольска-на-Амуре. Учился в вечернем техникуме без отрыва от работы. В 1933 году женился. Имел четверых детей. По окончании техникума стал мастером, техником, инженером на мебельной фабрике. Во время войны был сержантом и младшим офицером. Награжден орденами и медалями. После войны работал начальником цеха и затем директором фабрики. Избирался депутатом районного и областного Советов. За трудовую деятельность награжден орденами и медалями. Был членом партии. Чтобы предотвратить аварию на фабрике, бросился в опасное место, получил сильный удар в грудь. Как это и бывало с русскими людьми, кто обратился сразу к врачу. Когда почувствовал себя плохо, было уже поздно. Вскоре он умер. На его похороны пришли сотни людей. Один из выступавших сказал, что в России только после смерти настоящего человека мы узнаем, кого мы потеряли.

Жизненный путь брата Михаила характерен. Таких людей в народе считали настоящими коммунистами, вкладывая в это слово самое идеальное нравственное содержание. Уже будучи начальником цеха, он жил с женой и четырьмя детьми в одной комнате. Лишь став директором фабрики, он получил двухкомнатную квартиру.

Оба мои стершие сестры были тоже типичными русскими женщинами того периода. Образование их ограничилось четырьмя классами деревенской школы. Они рано начали работать в поле. Прасковья (1915) в шестнадцать лет вышла замуж за семнадцатилетнего парня из соседней деревни, жившего в городе. Сделав что-то с документами, чтобы увеличить возраст, они сразу же уехали в Ленинград. Конечно, пришлось дать взятку кое-кому. Муж сестры был рабочим. И сестра всю жизнь до выхода на пенсию была работницей. Другой сестре Анне (1919) тоже не без труда и взяток удалось вырваться из колхоза. Она уехала в Москву, работала нянькой, домашней работницей, чернорабочей на



заводе. Окончила курсы шоферов. Много лет работала шофером. После аварии стала инвалидом. Работала лифтершей и уборщицей. Участвовала в обороне Москвы. Имела награды.

Типична и судьба младших братьев. Николай (1924) в 1936 году переехал в Москву. Учился в школе. В начале войны стал работать на заводе. За получасовое опоздание был осужден на пять лет заключения. Был направлен в штрафную часть на фронт. Несколько раз ранен. Отличился в боях. Реабилитирован. Награжден многочисленными орденами и медалями, После войны окончил вечерний техникум. Стал замечательным специалистом по тонким приборам. Брат Василий (1926) окончил офицерскую школу, затем заочный юридический институт. Служил в Сибири, в Средней Азии, на Дальнем Востоке. Стал полковником, военным юристом, В 1976 году был назначен на генеральскую должность в Москве, Но в это время на Западе появилась моя книга «Зияющие высоты». От Василия потребовали, чтобы он публично осудил меня. Он отказался это сделать. Заявил, что он гордится мною. Его немедленно уволили из армии и выслали из Москвы. Но он никогда не упрекал меня за то, что пострадал из-за меня и не порывал со мной контактов. Он был членом партии, как и другие братья, прекрасным специалистом и на редкость хорошим человеком. Братья Алексей (1928) и Владимир (1931) учились в деревенской школе, служили в армии, работали рабочими, заочно учились в техникумах и институтах, оба стали инженерами.

Ни у кого из моих братьев и сестер не было никаких карьеристических амбиций. Если кто-то из нас немного преуспел, так это исключительно благодаря труду и способностям. Но я бы не сказал, что наша семья поднялась слишком высоко. Должность инженера немногим выше уровня квалифицированного рабочего и мастера. На самый высокий уровень поднялся я, став профессором и заведующим кафедрой университета, и Василий. Да и то на короткий срок. Так что «карьера» нашей семьи не превысила «карьеру» всей страны в результате социальной и культурной революции.

СЕМЕЙНЫЙ КОЛЛЕКТИВИЗМ

Бабушка и мать, не подозревая того, «открыли» принципы педагогики, которые потом принесли мировую славу А. Макаренко: воспитывать не каждого ребенка индивидуально, а как членов коллектива, причем – коллектива трудового. Как только мы чуть-чуть подрастали и были в состоянии что-то делать, мы включались в трудовую жизнь семьи. Носили Дрова и воду, пололи и поливали овощи, сушили и убирали сено. Походы за ягодами и грибами тоже превращались в работу: мы собирали их для семьи. Это было серьезным подспорьем в нашем питании. Сушеные грибы и ягоды сдавали на заготовительные пункты, получая за них мануфактуру, мыло, сахар и другие предметы, которые нельзя было купить в магазине. Драли и сушили ивовую кору. Она шла на выделку кож. Ее возили в Чухлому и получали за нее тоже дефицитные предметы. Ловили кротов. Разводили кроликов. Короче говоря, в нас с первых же дней жизни вселяли чувство ответственности за судьбу ближних и чувство принадлежности к единому коллективу.

Стремление сделать вклад, в общее семейное благополучие подавляло прочие желания. Собирая, например, ягоды, которые водились вокруг в изобилии, мы лишь изредка позволяли себе съесть несколько штук. Мы приносили их домой и получали свою долю из собранного нами же. Доли одинаковые, независимо от различий наших вкладов. Наградой за лучшие результаты была похвала. Мы вообще старались все делать так, чтобы заслужить похвалу со стороны взрослых. Но похвалу справедливую. Тем самым нам прививался один из самых фундаментальных принципов идеального коллективизма: принцип справедливой оценки способностей и трудового вклада в общее дело. Когда я вырос, я увидел, что в реальном советском коллективе декларированный марксизмом принцип «Каждому – по труду» чаще нарушался, чем соблюдался. Я тогда не знал, что именно следование этому принципу является причиной его нарушения, и реагировал на сам факт нарушения как на несправедливость.

Одной из особенностей коллективистского образа жизни является то, что человек всегда на виду у других. Всем видно, что из себя представляет человек. Нас с рождения приучали к тому, чтобы мы выглядели хорошими людьми в глазах окружающих, чтобы завоевывали их уважение исключительно положительными качествами. Нам предстояло жить в коллективах иного рода, чем тот, в котором мы росли. Но наше положение в них как добросовестных работников, лишенных карьеристических устремлений, не способных к интригам, к халтуре, к обману и к холуйству, было предопределено воспитанием в семье. Это имело свои недостатки и свои достоинства. С такими качествами можно было жить достойно, но нельзя было, преуспеть в смысле карьеры и материального благополучия. Я думаю, что в нашей семье никто не попал в волну сталинских репрессий (случай с братом Николаем и со мной совсем иного рода) в значительной мере благодаря тому, что никто из нас не был карьеристом и стяжателем, зато все были хорошими работниками, какие тогда требовались стране и всячески поощрялись.



Сергей Марков

Оставила тонкое жало Во мне золотая пчела; Покуда оно трепетало, Летунья уже умерла. Но как же добились пощады У солнца и ясного дня Двуногие, скользкие гады, Что жалили в сердце меня?

Знаю я малиновою ранью Лебеди плывут над Лебедянью, А в Медыни золотится мед. Не скопа ли кружится в Скопине? А в Скопейске ржавой смерти ждет Серп горбаты в дедовском овине. Наливные яблоки висят В палисадах тихой Обояни. Горд спит, но в утреннем сиянье Чей-нибудь благоуханный сад.

И туман рябиновый во сне Зыблется, дороги окружая, Горечь можжевеловая мне Жжет глаза в заброшенном Можае.

На заре Звенигород звенит — Будто пчелы обновляют соты, Все поет — деревья, камни, воды, Облака и ребра древних плит.

Ты проснулась. И лебяжий пух Лепестком на брови соболиной, Губы веют теплою малиной, Звоном утра околдован слух. Белое окошко отвори! От тебя, от ветра, от зари Вздрогнут ветви яблони тяжелой, И росой омытые плоды В грудь толкнут, чтоб засмеялась ты И цвела у солнечной черты. Босоногой, теплой и веселой.

Я тебя не видел никогда
В Темникове темная вода
В омуте холодном ходит кругом;
Может быть, над омутом седым
Ты поешь, а золотистый дым
В три столба встает над чистым лугом.

Еа Шехонь дорога пролегла, Пыльная, кремнистая дорога. Сторона веснянская светла. И не ты ль по косогору шла В час, когда как молоко бела Медленная тихая Молога? Кто же ты, что в жизнь мою вошла: Горлица из древнего Орла? Любушка из тихого Любима? Не ответит, пролетая мимо, Лебедь, будто белая стрела.

Или ты в Архангельской земле, Рождена, зовешься Ангелиной, Где морские волны с мерзлой глиной Осенью грызутся в звонкой мгле?

Зимний ветер и упруг и свеж, По сугробам зашали тени. В инее серебряном олени, А мороз всю ночь ломился в сени. Льдинкою мизинца не обрежь, Утром умываючись в Мезени.

На перилах синеватый лед. Слабая снежинка упадет — Таять на плече или реснице. Посмотри! на севере туман, Ветер, гром, как будто океан, Небом, тундрой и тобою пьян, Ринулся к бревенчатой светлице.

Я узнаю, где стоит твой дом! Я люблю тебя, как любят гром, Яблоко, сосну в седом уборе. Если я когда-нибудь умру, Все равно услышишь на ветру Голос мой в серебряном просторе.

* * *

На дне походного мешка Крыло сухого мотылька Хочу найти. Глазам не верю. Перебрала моя рука Пожитки, крохи табака Мне помогала лишь тоска Поверить в нежную потерю.

Еще дышали в сентябре Деревья в теплом серебре И медлил утренник суровый, Еще стояла тишина, И рос у нашего окна Мак. одинокий и багровый.

Я взял на память лепесток Светился инеем песок, Шумела на привале рота. Я на песок холодный лег, И мне приснился мотылек Под гром чужого самолета.

Мне снились пчелы и цветы. Багряный мак.И снилась ты В сиянье майского простора. Проснулся я. Нашла рука Холстину грубого мешка И лед ружейного затвора!

1941 г.

Евгений Осетров

мысли о родной земле

Выпускной вечер в школе состоялся семнадцатого июня сорок первого года, радости не было конца, а всего через пять дней мирная жизнь осталась далеко позади, а с ней стали навсегда прошлым детство и юность. От школьное парты, от классной доска — на фронт, в окопы и траншеи. Такова судьба моего поколения. Из числа моих однокашников уцелело двое. Вернулся из армии — «не убитым и не раненным» Валя Смирнов, мой сосед по парте. Я был ранен вскоре после славной переправы через Днепр.

Когда. человеку под двадцать лет; родная земля да и все окружающее для него говорят стихами. В ту пору – трудную и счастливую – ритмический гул я слышал постоянно: и в шелесте ветра, и в огненных залпах «катюш». Был просто счастлив, когда дивизионная наша газета «В бой за Родину» напечатала на первой полосе мои восемь строчек:

Мне кажется, что заколдовал я, Что пули не берут меня литые. Что я— само кипенье бытия, Что я— бессмертен, как моя Россия,

Любовию народною храним, Неистребим, как радость, как свобода, Я— русский человек. Я— верный сын Великого бессмертного народа.

Газету мне принес воентехник Смирнов Александр Дмитриевич и сказал: «Теперь и в нашем батальоне есть свой поэт». Я же думал, что для меня строчки, вылившиеся из сердца, были напутствием земли родной.

* * *

На фронте мирное житье-бытье вспоминалось постоянно. Виделся в мечтах город на Волге, как олицетворение того, что являет непреходящую ценность. С наслаждением выводил я на конвертах-треугольниках названия костромских улиц; Овражная, Нижняя Дебрь, Калиновская, Зеленая. Слобода.

Алексей Румянцев

МОЯ БИОГРАФИЯ

Родился в 1912 году в судиславской деревеньке бывшей Костромской губернии. Впечатления детства — это березовые перелески, подступавшие к самым задворкам нашей Малиновки, пастьба скота на пустырях, гонки верхом в ночное...

В 12–13 лет мы, ватага подростков, пристрастились посылать в Кинешемскую уездную газету письма-заметки о деревенском житье-бытье. Подписывались причудливо: коллективный псевдоним был «Молокососы». Писали много и часто. Иные наши заметки печатали, но сокращали их, к нашему огорчению, на добрые две трети. Лишь потом, повзрослев, понял я, что это была начальная школа литературной грамоты и что Малиновский наш кружок юнселькоров должен был благодарить за поправки сотрудников уездной газеты.

В деревне окончил я всего трехклассную начальную школу. В 1925-1926 годах, когда учился уже в Костроме, в школе-коммуне, губернская газета «Северная правда» напечатала первое мое стихотворение. Затем — рассказец.

Тогда я учился в пятом и шестом классах, и эти пробы, конечно, были всего лишь игрой в творчество;

потом я забросил эту забаву и не писал ничего лет восемь. На бумаге все получалось бледнее, худосочнее, чем в фантазии. Да и жизнь складывалась не очень-то сладко.

В 16-17 лет, не закончив даже семилетки, пустился ездить «по белу свету». Чего только не перепробовал! Грузил

с комсомольцами-тысячниками иностранные лесовозы в Архангельском порту. Был токарем на строительстве гиганта «Уралмаш» под Свердловском. В Воронежском селе Нижняя Матренка был избачом. Киев: чернорабочий котельного цеха завода «Большевик». Владимир, совхоз «Новки»: учетчик молока и ученик счетовода. Комсомольский инспектор Бюро изобретательства на заводе. Архивист в Костроме. Культурник торфоболота «Монетное». Помнится еще лето в Москве: что-то кому-то переписывал в канцелярии Мосздрава и... даже в одном из отделов ЦК ВЛКСМ!

Прилепляться к одному месту не только не хотел, но чаще всего и не мог: не имел ни порядочного образования, ни любимой, определяющей жизнь специальности. Вот и продолжалась в новой форме былая детская игра: тянуло неудержимо бродяжничать, пожить непременно так, как жили Максим Горький и Джек Лондон, любимейшие мои писатели.

Хотя в пестрые годы эти пытался как-то продолжить образование (то на различных вечерних курсах, то по брошюркам комсомольского отделения Комвуза), но убежден, что наилучшим Комвузом была для меня жизнь, социалистическая наша действительность. Да, жизнь в гуще людской. И книги, и комсомол, и разносторонняя общественная работа, селькорство. Как пригодились мне ранние селькоровские навыки потом, когда более пятнадцати лет учительствовал я в селах костромского Заволжья! Не скрою, за иные корреспонденции перепадали мне синяки-шишки, и открытые, нападки случались, и тишком, из подворотен, пощипывали — чего не случается с селькорами! Отряхнешься, почешешь ушибленное место и — снова в драку.

ушибленное место и — снова в драку.

Военно-фронтовая страда для меня закончилась в феврале 1944 года: эвакогоспиталь под Вышним Волочком. После «ремонта» снятый с воинского учета, возвратился в. деревенскую школу. Учительствовал в Заволжье до 1954 года, пока не выбила из колеи болезнь, инвалидность.

Признаюсь, что вернули меня к давним литературным увлечениям главным образом школьные кружки, которыми я руководил как учитель-словесник. Обучал ребятишек постигать секреты построения заметок, рассказиков, частушек, стихов. И сам постепенно увлекся. Так что, развиваясь

вместе с воспитанниками, считаю себя в какой-то мере самоучкой. Разобраться же в себе, в своих писаниях помогли мне Василий Александрович Смирнов и Михаил Дмитриевич Шошин.

Давние мои рассказы премировались на литконкурсе в Ярославле еще в 1940 году; первая моя публикация в книжке – фольклорном сборнике – относится к 1939 году. А раньше печатался лишь в газетах и – мало. Жизнь была загружена до предела трудом и непрерывной учебой: работая в школе, заочно осилил учительский институт (литфак), за ним – три курса пединститута по специальности учителя-историка. Но с 1954 года втянулся в творчество всерьез.

Многое в жизни увидено, испытано, пережито. Об этом пишу и – надеюсь – буду писать.

1971 г.

Юрий Баранов (1922-1942)

* * *

Ой, какие светлые дали, Ой, какой голубой разлив! Только я сегодня печален И поэтому молчалив... Скоро мир, что широк и розов, Превратится в кромешный ад. Скоро крылья чужих бомбовозов Голубое небо затмят. Где-то первый залп всколыхнется, Где-то вспыхнет первый пожар. Кто-то первый в землю уткнется, Кто-то примет первый удар. Позабудьте сказки и были И не тешьте себя мечтой, — Войны, все, которые были, Перед этой будут - ничто.

Будет враг разбит и рассеян, Но какой жестокой ценой. Долго будет плакать Россия, Вспоминая великий бой. Сколько нас погибнет в сраженье!.. А годов через сорок пять Наше светлое поколенье Будут с гордостью вспоминать. Но, — прекрасно все понимая, Но, — готовый идти на рать, В этот солнечный вечер мая Я совсем не хочу умирать. Вот поэтому я печален, Вот поэтому я молчалив.

Ой, какие светлые дали, Ой, какой голубой разлив!..

3 мая 1941 г.

* * *

Под ногами клонятся травы, Мы идем выполнять приказ. Ты меня не имеешь права Забывать в этот грозный час, Потому что здесь пули свищут И какая-нибудь из них, Может, сердце мое отыщет И убьет неоконченный стих.

1942 г.

МУЖЕСТВО ПИСАТЕЛЯ

Отдаем благодарную дань уважения пришедшим с воины и вспоминаем тех, кто уже не придет никогда. По словам поэта, они – кто старше, кто моложе – остались там... И каждый фронтовик с болью может сказать: «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны... но все же, все же...» У них, пришедших, эта болевая память обостряет чувство долга и нравственной ответственности за все происходящее через много лет после трагических испытаний. Перед лицом войны, перед лицом обстоятельств современной жизни требуется гражданское мужество. Требуется оно и в поисках ответов на многие вопросы.

Жизнь и судьба Владимира Григорьевича Корнилова свидетельствуют о духовных, нравственных исканиях с неизбывным мужеством. На белорусской земле, под Витебском, во время наступления, лейтенант Корнилов получил тяжелейшее ранение. После мучительных хирургических операций, одолевая физические и душевные страдания, надо было бороться с собой и обстоятельствами. Окончил Литературный институт имени Горького, защитив диплом интересной повестью «Лесной хозяин». Затем опубликовал очерки, рассказы. Уже сложившийся и определивший свою творческую судьбу Владимир Корнилов был направлен в Куйбышев, затем — ответственным секретарем отделения Союза писателей РСФСР в Кострому. Здесь создавал писательскую организацию и проработал в должности ответственного секретаря до марта 1988 года.

Литературное творчество известного писателя из фронтового поколения критики охарактеризовали как восхождение к роману. Это восхождение началось первой книгой, изданной в Ярославле, «Мартовские звезды». В ней – лучший рассказ «Пропущенная заря», в котором были такие строки о юноше с опаленным лицом: «Юность проглядывала в нем робко, как молодая трава в сожженном лесу». В разговоре охотников у костра за словами была истинная горечь. «На войне мы не думали о себе: надо было воевать.» Но пришло время думать о себе и с болью о других. Пришло время конкретного творческого восхождения к роману через

многие годы раздумий и тернистых дорог в устремлении к идеалу. Состоялось восхождение к эпическому повествованию о жизни — писатель создал три романа: «Семигорье», «Годины», «Идеалист». За первые два — они переиздавались — в 1985 году Владимиру Григорьевичу была присуждена Государственная премия РСФСР. Затем в Москве был издан двухтомник избранных произведений.

В майском номере нашего журнала «Кострома литературная» опубликован большой очерк о жизни и творчестве писателя В.Г.Корнилова.

МБ

Владимир Корнилов

ОКОНЧАНИЕ POMAHA «ГОДИНЫ»

* * *

Видная издали, почти на самом берегу Немды, стояла одиноко, в давнем наклоне береза. Уже проступали за ней под темной хвоей бора дома поселка. Еще шагов с тысячу, и будет он, дома. Он все-таки осилил весь путь, который в бессонности ночи задумал. И сможет посмотреть в глаза отцу, маме измученно, но почти победно: сегодня он возвратил себе что-то из той жизни, из которой выбила его война.

«Все хорошо, все хорошо», — твердил Алеша, переставляя костыль, за ним правую протезную ногу, потом палку, за ней левую, тоже не свою ногу. Он шел бы дальше, если бы не, уже непереносимая, боль разодранной и воспаленной в протезах кожи; он делал шаг — сердце останавливалось от боли, культи как будто всовывали в пылающие жаром угли. Шея гнулась под висящим на ремне ружьем; он не знал, что обычное ружье, которое прежде без заботы он таскал по лесам с рассвета дотемна, может оборотиться в казнь. Он обливался потом, едва держался костылем и палкой, но до березы дошел.

Он помнил: до войны здесь росли из одного корня две одинаково высокие, сильные березы; в удобную развилину

между стволами он однажды усадил отдыхать Ниночку в одну из редких — Ниночка просто до дрожи боялась чужих глаз! — их прогулок вдоль Немды. Теперь одной березы не было, кто-то спилил ее, и, видимо, давно. Алеша пристроился на высоком, почернелом от непогод срезе, привалился к другому, еще целому стволу, закрыл глаза. Ствол почему-то был холодный, хотя день выстоял жарким; спиной и затылком он чувствовал глубинный холод березы, и, хотя прохлада сейчас была ему приятна, он с толкнувшим сердце чувством вины вспомнил свою, всегда хранящую для него тепло сосну, там, за рекой, в лесу, у которой ясно думалось и успокоенно лышалось.

Протезы теперь он не снимал, знал: боль не даст снова надеть их; не открывая глаз, он только ослабил опутывающие его ремни, чтобы дать отдых занемевшему в неволе телу.

В неподвижности боль как будто затихла. И в живой, никогда не остывающей памяти всплыл такой же вот августовский день сорок первого года: обоз, увозивший их, суетных, бритых, стеснительных; мама, затерявшаяся где-то в пыли, окутавшей дорогу; и грозовая туча за горой, под которую все они с нетерпелив вой дерзостью въезжали. Он помнил мост через Туношну, по разбитому настилу которого колеса увозящих их подвод простучали с дробным грохотом, похожим на выстрелы, и – как будто это было сейчас – сжалось сердце от ощущения невозвратности того, что оставлял он тогда за Туношной... Стараясь уйти от бесполезной сейчас памяти, Алеша заторопился, сполз с высокого пня, перенес тяжесть тела на протезы и охнул: глаза оплеснуло тьмой, ноги горели, как будто с них сдирали кожу. Стиснув губы, он стоял, заставляя себя привыкнуть к неотпускающей боли. Сделал шаг, другой, попятился, снова приклонился к березе: почувствовал — не дойдет.

«Вот и все, – подумал. – Вот она, черта, отсекающая от жизни. Оказывается, и у человека есть. предел возможного. И не дано раздвинуть этот предел ни упорством, ни волей. Кажется, я дошел до своего предела...» Он смотрел затуманенным болью взглядом через поля на взгорье, где были дома и люди; и не смел и не знал, как людей позвать.

Из многого, что. хранила память в том августовском, уводящем на войну дне, он не давал себе вспомнить только Зойку, белым трепетным видением ожидавшую его у расстанной дороги. Он знал свою вину перед ней, перед девичьей ее преданностью, им не понятой и не принятой. Он знал, что земное богатство, оставленное им в тот день за Туношной, к которому с надеждой и верой он теперь припадал, может шаг за шагом вернуться к нему; не могла возвратиться в его жизнь лишь удивительная семигорская девчонка, ее открытая всему свету, преданная любовь. Он сознавал это с отяжеляющей душу скорбью, как сознавал и справедливость этой, ощущаемой им теперь, может быть, самой великой потери. И, сознавая, не дозволял себе трогать притаенную в душе скорбь. Но в этот час одиночества и боли взорванная страдающими чувствами его память опрокинула запреты: он увидел несущееся к нему с придорожного косогора белое, трепетное, живое облако и услышал протяжный, как осенний птичий клик, наполненный разлукой и тревогой девичий голос:

– Але-ее-шка!..

И настолько сильны были ощущения того далекого дня, что Алеша не смел открыть глаз; с такой яростью он давил костыль, что стонала прихваченная болтами деревянная опора. Заглушить память он не мог и стоял, опустив к груди голову, давал пройти через душу скорбным и светлым видениям.

Когда поутихла наконец душевная сумятица и Алеша возвратился в день, в котором сейчас был, и снова явственно ощутил и свое одиночество, и меру своей беспомощности, и поднял от груди голову, и посмотрел в даль низкого предвечернего неба, он увидел, как от Семигорья, — не от середины, не от прогона, откуда выходила дорога к Немде, — а от крайнего, ближнего к Волге дома отделилось и заскользило вниз вдоль некошеных хлебов светлое быстрое пятнышко. Алеша даже не удивился: прошлое было в нем, оно было в сегодняшнем дне, видение прошлого продолжалось; он знал, что видит то, что хранит его память. И только когда белое пятнышко обозначило себя на луговине, на которой он был, и уже не в пятнышке — в белом облачке он увидел бегущую к нему девчонку, он напрягся до ледяного холода в лице, придавил себя к березе и замер, как будто должна была сейчас окончиться его жизнь.

Зойка налетела как стремительный, упругий, обжигающий ветер; с раскиданными по лбу, по щекам, по губам волосами, она, на последних шагах, будто втянутая магнитной силой, вникла лицом в его грудь, трепетно охватила его плечи и, целуя в подбородок, в щеки, в губы, сдвигая с носа очки, измазывая радостными слезами, обретенно, счастливо твердила: «Алеша... Алеша...» .Она оторвала от груди мокрое, смеющееся лицо, заглядывая в его растерянные глаза черными, блестящими, как речные камушки-окатыши, глазами, виноватясь, радуясь, смеясь, быстро говорила:

– Я же только-только вернулась! Дядя Федя увидел, кричит, беги, тебя Олеша ждет!.. Я как побегла! Ну про все на свете забыла!.. Алеша... Вот какой ты стал, Алеша! Еще красивей. Еще лучше!

Алеша, уронив костыль, смятенно сжимал Зойку железными своими ручищами, жался стыдящимся лицом к ее волосам, пахнущим теплом и полем, и не давал ей поднять головы, чтобы не увидела она прожигающие его глаза слезы.

Зойка первая пришла в себя. Как-то деловито обеспокоилась одной ей известным беспокойством, навесила себе на шею ружье, подняла с земли костыль, заботливо подставила ему под локоть, другую его руку примостила на своем плече, прижала крепко своей рукой. Осторожно, настойчиво отстранила его от березы, сказала в сосредоточенности, по давней девичьей своей привычке растягивая слова:

Пошли, Алеша. Потихонечку. Далеко-о-о нам еще идти!...

1973-1982 гг.

Вячеслав Смирнов

СТАНЦИЯ МГА

Лавиною танков, прорвавшихся с боем, Враги Ленинград отрезали у нас. И «юнкерсы» выли над станцией Мгою, Кидая с бортов смертоносный фугас. Дорожные рельсы кой-где разметало. И старенький сторож у сорванных шпал, Уткнувшись седой головою, Устало Сном вечным на стрелке израненной спал... Трещали в дыму деревянные стенки, Под взрывами крыши ползли набекрень. И жители Мги, и друзья-ополченцы Нелегкую участь познали в тот день. Дождливые, хмуро нависшие тучи Косматый огонь языками лизал. Бесформенной, тихо искрящейся кучей В предсмертных мученьях кончался вокзал. Он пал, обожженный, обугленный, черный, Но в рабство не отдал себя. Потому Мы новое тело душе непокорной – То время настанет! – построим ему. И мы победили. Прорвали блокаду. Разбили проклятые орды врага. И поезд на этом пути к Ленинграду Встречает свободная станция Мга.

3*

ВЕК УЧИСЬ...

Ровно 60 лет назад в новогоднем номере армейской газеты Группы советских оккупационных войск в Германии была напечатана стихотворная сатира гвардии старшины Виталия Пашина, отчаянно высмеивающая потуги американских заправил навязать странам Западной Европы так называемый «План Маршалла» — программу экономического закабаления Соединенными Штатами европейских государств.

Из шестнадцати строк стихотворения моих осталось чуть больше половины, да и то со многими чужими словами вместо кровных авторских. Это меня, естественно, возмутило, и я готов был разразиться гневным письмом в редакцию. Но в последний момент раздумал: стоит ли поднимать шум. Ведь под публикацией стоит моя подпись, а уж какую там пертурбацию внутри изладила редакция, никому, кроме меня, неизвестно. Вот и пусть все думают, что произведение целиком мое. Тем более что замполит на утреннем построении поздравил автора «с этим делом» и пожелал «так держать» в дальнейшем.

Где-то через месяц начфин полка вызвал меня в штаб, велел расписаться в какой-то ведомости и вручил сорок марок.

- Это по какому же случаю, товарищ капитан? удивился я.
- Гонорар из газеты, товарищ Достоевский, съязвил «начфиник».

Приятная неожиданность!..

По пути из штаба я завернул в котельную нашего военного городка к работавшему там «герру Онкелю». Этот кривой веселый немец, потерявший глаз на Восточном фронте, аккуратно выполнял заказы старослужащих «унтер-официров» по доставке в гарнизон «фляшей» со спиртными напитками. Рисковал мужик, но законом международной солдатской солидарности не мог пренебречь, за что и любили мы его,

бывшего врага, нынешнего союзника, снабжали сигаретаоывшего врага, нынешнего союзника, снаожали сигаретами, прихваченными во время дежурства в столовой брикетами с концентратами овсяной и перловой каш. В те первые послевоенные годы рядовые жители Восточной Германии терпели большую нужду в продуктах питания, а в кухнях солдатских столовых таких брикетов было в достатке, и положить в карман пару-тройку штук не считалось предосудительным.

В субботу Онкель принес две бутылки шнапса, я позвал в «мастерскую» полкового художника Васи Капкаева самых близких наших друзей, и перед ужином мы отпраздновали знаменательное событие, запив водку водой из-под крана.

— Ну, ты это дело не бросай, — напутствовали сослужив-

цы. – Накатай-ка им поэму строк под триста.

Сделав в уме сложный математический подсчет, Кап-каев сообщил нам, что за каждую из шестнадцати строк редакция уплатила мне по две марки с полтиной. Следовательно, за триста строк я буду иметь 750. А ежели хотя бы половину из них пустить на «фляши», то получится... круглое очко – двадцать одна бутылка!

Такой сравнительно легкий способ добычи денег очень вдохновил меня (тот стишок-то сочинил я от нечего делать во время ночного дежурства по казарме), и теперь в мечтах допустимо было строить определенные планы на будущее сотрудничество с газетой. Но сколько стихов я в нее потом ни посылал, ни одно не появилось в печати. Так что вместо гонораров мне приходили сделанные под копирку машинописные ответы со вставленной, написанной от руки после слова «Уважаемый» – моей фамилией.

Меня хвалили за актуальные темы, за творческое горе-Меня хвалили за актуальные темы, за творческое горение, за желание своим пером крепить боеспособность Советской Армии, помогать обществу строить великое будущее страны, но... Претензии были к форме подачи материала. Не устраивала она их, эта чертова форма! Оказывается, моим стихам не хватало «чуть-чуть искусства», и поэтому мне очень советовали учиться у Пушкина, у Крылова, у Михалкова... Все эти ответы были похожи друг на друга, как две капли воды. Только моя фамилия, вписанная на месте многоточия, отличалась почерками.

Таких писем у меня скопилось штук десять, пока я окончательно не уразумел, что это самые натуральные отписки, и прекратил свое общение с прессой. Думал, что навсегда, но ошибся.

И что любопытно: та, чудом сохранившаяся газетная вырезка с моим наивным стишком, которую я пять лет спустя при поступлении на факультет журналистики МГУ приложил к заявлению, сыграла-таки свою положительную роль (как я тогда полагал).

Ну, а когда после окончания учебы я стал работать в отделе культуры Курганской областной газеты и был обязан отвечать на письма с «произведениями» графоманов (в «застойные» годы любые письма в газету не должны были оставаться без ответа!), мне пришлось использовать опыт тех армейских журналюг, поднаторевших в составлении отписок. Я тоже хвалил ярых, настырных стихоплетов за темы, за желание идти в ногу с веком, с грустью сетовал на несовершенство формы их произведений, на нехватку «чуть-чуть искусства». И, разумеется, тоже советовал авторам учиться у классиков. Только не думайте, что при этом я лукавил или, тем паче, издевался над неумехами. Я был искренен и очень желал, чтобы графоманы (в отличии от меня) не завязывали с поэзией и со временем превращались в подлинных стихотворцев.

К сожалению, таких метаморфоз на моей памяти не случалось.

Тем не менее, многие из них, научившись отличать ямб от хорея, издавали книги. И были приняты в члены Союза писателей. И сами учили молодежь стихосложению и прочим литературным премудростям...

Се-ля-ви-фа-соль-ля-си, как говаривал Чайковский.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Николай Никонович Востров родился 10.04. 1925 года. (д. Балаболиха Шарьинского района Костромской области). В январе 1943 года призван на фронт, участвовал в боях под Ленинградом, был ранен. Награжден пятью медалями. Боевой путь завершил на Балтике, остров Эзель. После войны окончил Киевское Краснознаменное общевойсковое училище. Уволен в запас в 1954 году. Много лет работал столяром в Якшангском леспромхозе. И всегда писал стихи. Эпизодически (по жизненным обстоятельствам) поддерживал связь с костромскими писателями. Печатался в периодике. Изданы сборники гражданской лирики. («По России, по раздольной. /Не пройти тропой окольной.../ Кто-то охнет, кто-то ахнет...) («Й понес я на пилотке/ нашу звездочку вперед...»). У него всю жизнь руки в порезах и ссадинах – «Мои, а не дядины...» А душа легко ранимая да терпеливая. Голос поэта устойчивый, мотивы стихов народные, памятные по традициям русской поэзии.

Первый сборник «Мои полномочия» издан в 1967 году. Второй «Минута молчания» – стихи и поэма. Третий «Местные мотивы» отпечатала районная типография. Готова четвертая книжка. Почти в каждом альманахе мы публиковали его, представлен он и в Антологии костромской поэзии, в книге «По праву памяти и долга», посвященной писателям участникам войны. Нынче в журнале «Кострома литературная» к юбилею Победы печатается подборка...

Писатели, сотрудники журнала, библиотекари, земляки сердечно понимают желание ветерана отметить юбилей Победы в профессиональной принадлежности к Союзу писателей России. И это оказалось возможно.

Памяти отца, инвалида Великой Отечественной войны

* * *

По улице города четкой походкой
Идет капитан.
Пред ним — инвалид в полинялой пилотке,
Седой ветеран.
Очистилось небо. Война откатилась,
Тревогой пыля.
Остались — увечье, да слабые силы,
Да стук костыля.
В глазах инвалида — всегда молодая
По жизни тоска...
Рука офицера, устав соблюдая,

СЫНУ

Коснулась виска.

Хорошо бы ты не вспомнил, Ну, а я-то вспомяну... Шел я в светлый мир огромный, А наткнулся на войну. И дорога загудела: «Где мои семнадцать лет?» Вышла мать, белее мела, Целовать сыновний след. Выпал час, да не короткий. У войны железный ход. И понес я на пилотке Нашу звездочку вперед.

Я понес ее на запад, Где в траншеях все луга, Под ногой хрустели лапы В землю вмятого врага. Остров Эзель... Там остались Танков рваные бока И родной уральской стали Карабин фронтовика. И теперь еще не знаю, Почему живой стою... Видно, дружба фронтовая Сберегла меня в бою. А друзей хороших, скромных Сколько пало за войну! ...Хорошо бы сын не вспомнил, Hу, а я — то вспомяну.

* * *

Да не умрет душа от дряхлости, Да будет юной на века! Не будем маятся от затхлости, А лучше уж от сквозняка.

Не унижайся обороною, В последний узел завяжись — А все люби ее, каленую И даже проклятую жизнь.

СОЛДАТСКИЙ РЕМЕНЬ

У Сергуньки Березина пропал ремень. Солдатский ремень. Брат Василий подарил, когда нынешней весной вернулся из армии.

Ах, какой чудесный ремень достался ему, растяпе. Весь кожаный, лента широкая, с изнанки гладкая, о гимнастерку натерлась, снаружи шероховатая, без единой дырочки. Совсем они не нужны тут, эти дырочки, когда бляха есть. Бляха медная, огнем горит. В центре ее пятиконечная звезда, вся-вся в мелких лучиках, а в середке звезды — крохотный серпик, а на него как бы положен молоточек.

В лесной деревеньке Лотково ни у кого из ребят нет такого ремня. Шагает Серега улицей, короткие светло-синие штанишки, их почему-то приезжие городские ребята шортами называют, крепко и ловко опоясаны ремнем. Два солнца сверкают: одно на небе, другое у Сереги на животе. Кто ни попадается навстречу, сперва пожмурится, потом улыбнется:

- Да чей же это такой складной солдатик: настоящая пилотка, настоящий ремень? Ты, Серега, что ли?
- Я-я... Ремень Васятка подарил. И пилотка его.
 А бляху я сам драю: сперва бузиной, а потом вязаной варежкой. Вот она всегда и новенькая.

– Умник.

Думалось: вот скоро он пойдет в школу и подпоящет брюки армейским ремнем. Кто-то обязательно увидит и спросит: откуда, мол, у тебя солдатский ремень. Ответит, не, гордый человек, старший брат подарил. В ракетных войсках служил. В походах, на ученьях, на стрельбах был этот ремень. Теперь мне достался...

Сергей вздохнул и вылез из-за стола, так ничего и не поев.

– Достался!.. Xa!.. – вслух передразнил он себя. – Дураку достался – посеять такой ремень!

Что брату скажет, как в глаза поглядит. Хоть бы мать поскорее пришла с вечерней дойки. Может, она убрала? Нет-нет. Все в доме перерыл. Все! Как провалился. На сенник слазил, в чулан заглянул – и там пусто... Ну, куда, куда же он делся?

Серега прошел в летнюю комнату и лег на раскладушку рядом с кроватью брата, вытянулся, несколько минут лежал на спине, перевалился на бочок, согнув ноги в коленях, и тут неожиданно подумал: «Может, его Васятка взял? Ремень. На комбайне работает, рожь косит, пылищи там, вот он для удобства по-солдатски и оделся... Э-эх». – Обрадовался, сразу успокоился и скоро уснул.

Мальчишке приснился военный сон: бежит будто бы он по березовой аллее, дорожка песочком посыпана, за березами слева и справа танки, бронетранспортеры, ракеты, а он бежит, а куда бежит – не знает. Конечно, по делу. Вдруг навстречу идет майор Комлев, то есть тот самый командир батальона, у которого служил брат Василий. Останавливает.

- Боец Березин, почему не по форме? - голос строг, взгляд карих глаз холоден.

Сергей скользнул рукой по поясу, а ремня на нем нет. Боится поднять свои серые глаза на командира. Что делать? Кто выручит? В пот ударило.

- За нарушение уставной формы... два наряда вне очереди.
 - Есть два наряда вне очереди...

Хотел козырнуть, а и пилотки нет.

- ...Тут Сергей проснулся, а перед ним брат Василий: свежий, бритый, русые волосы мокры.
- Ты уже искупался? удивился Сергей.
 Успел, как видишь. Здорово вчера поработали. Зайцевское поле все выкосили.
 - А ты... ты, замялся Сергей, был в гимнастерке?
 - Нет. А что?

Не выговорились эти слова, никак не смог Сергей сказать брату, что потерял его солдатский ремень. Глаза защипало.

Василий поглядел на посмурневшего брата, все понял, вышел в сенцы и тут же вернулся со своим ремнем. Стараясь не улыбнуться, стараясь быть строгим, сказал:

- Чего ни разу не делал этот солдатский ремень, так это не хлестал по заду таких молодцов, как ты. А стоило бы.
 - Где нашел, Вась?
- Где? Где оставил: на ольховом сучке, у реки.
 Сергей вскочил, крепко обхватил теплыми руками за шею брата, прижался своей еще сонной щекой к холодной щеке Василия.

Александр Часовников

ДЕТСТВО

Наше детство начиналось с голода, С воблы, с воробьиного пайка, С темного завьюженного города, С уходящего на фронт полка.

Мы бродили на Тишинском рынке, Домом стал прокуренный вокзал. Вот тогда, смахнув с ресниц слезинки, На войну отца я провожал.

Я его запомнил молодого, Он в кожанке был и в брюках клеш. У него я взял на память слово Огневое, буйное: «Даешь!»

Это слово залетело в песни, С конницей рвалось на Колчака, Было нам, ребятам с Красной Пресни, Вместо хлеба. вместо молока.

* * * Из поэмы «Юрий Смирнов»

Снова фронт. Траншеи. Взрывы тола. Гарь. Артиллерийская пальба. Смрад и зной. Горят леса и села. Танки смяли травы и хлеба.

Грузовик в обочине дымится, Стонет конь с оторванной ногой. Белорусский фронт идет к границе. Скоро Буг желанный, дорогой.

День и ночь вдоль Витебской дороги, По болотам, по сырым лесам Новобранцы разминают ноги, Путь идет к фашистским блиндажам.

К полосе изрытой и колючей, Где три года рос широкий вал. За броней и за бетонной кручей Окопался Траут-генерал.

Траут бронирует оборону — Всюду мины, надолбы, «ежи». Нелегко гвардейским батальонам Пробивать такие рубежи

- Друг, Смирнов! Смотрите, объявился!
- Здравствуй, Юрка! Молодец, орел!Зеленюк при встрече подивился:
- Добре, хлопец! рад, что ты пришел.

Значит, вместе, Юра, до победы! Ты теперь обстрелянный солдат. Скоро будем провожать «соседа» С огоньком и с музыкой назад. Видно, штаб готовит наступленье, По полкам солдаты говорят Что ж, шагай в родное отделенье, Каску получи и автомат.

Встал солдат в переднюю колонну, Встал в шеренгу ротных запевал, Впереди за лучшим отделенным. Каждый понял — этот воевал.

МЕТЕЛЬ

Нам идти далеко... Окружили снега ворохами, Навалилась метель, Холодных холмов намела. Далеко до села С огоньками, с теплом, С петухами... Хорошо бы дойти До такого села, Чтобы тело распарить На ласковой. Теплой лежанке, Чтоб солдатский сухарь Раздобрел Под крутым кипятком... Ни дорог, ни огня, И не пахнет жильем И стоянкой -Все закрыто Махровым, шершавым Метельным платком. Мы идем по сугробам Под злые Напевы метели.

Ей — кружить и блуждать, Нам шагать в темноте Без дорог. Наши каски, шинели В снегу поседели... Устоим, Победим И не свалимся с ног.

* * *

Если посчитать все километры, Пройденные нами за войну, Дать прибавку на морозы, ветры Да на переправы, хоть одну. На солдатский груз, на пыль, на слякоть На бомбежки, на осенний дождь, Что хотел заранее оплакать. Если, предположим, упадешь; Если все сложить да подытожить, Цифра пятизначная мала. И вторично мы пройдем все то же. Потому что Родина мила. Мы ее не можем дать в обиду. Без не. без матери, мы — прах. Будет трудно, не покажем виду, Будет страшно, переборем страх.

ПАМЯТКА

Как много победных и памятных мест; Смоленск, Рогачев и дорога на Брест. За нами озера и тысячи рек, Отвага и доблесть, и слава навек. Дороги сражений! Болотный поход! Мы шли, где никто никогда не пройдет.

ПЕПЕЛ

Я вернулся домой после долгого грома, Я на пепел смотрел, утешая сестру. Вот и все, что осталось от старого дома Опаленные клены шумят на ветру.

Вспоминали о детстве далеком и светлом, Горьких слез не сдержали, и не было сил. А сестра мен посыпала голову пеплом. Чтобы я в своем сердце все это носил.

Виктор Хохлов

МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ...

Полковник запаса Владимир Михайлович Седых (бывший «Вовочта») как-то получил из нашей школы приглашение на встречу выпускников военной поры и уговорил меня тоже пойти.

Мы с волнением бродили по знакомым коридорам, заглядывали в «свои» классы, и, услышав трель звонка, вместе со всеми поспешили в актовый зал.

После официальной части разбрелись по кабинетам и долее всего задержались в классе, из которого в 1942 году Володя Седых вместе с нашими общими друзьями ушел добровольцем на фронт. Здесь на партах были разложены какие-то старые школьные принадлежности, потрепанные учебники, тетради, стояли скромные букетики цветов. А со стены, из траурной рамки смотрели на нас юные, совсем мальчишеские лица Славы Мартьянова, Рема Белова, Гены Бароничева, других ребят, не вернувшихся с войны, и не было сил оторваться от их словно бы вопрошающих взглядов.

Потом меня позвали в «землянку». У входа в нее стояли два мальчика в военных пилотках, отдавая каждому ветерану честь. В самой «землянке» царил полумрак: окна класса

были завешаны плащ-палатками. На учительском столе горела коптилка, рядом с нею стояли солдатские кружки и котелки. Тихо звучала записанная на пленку песня фронтовых лет: «Бьется в тесной печурке огонь...» Две школьницы по очереди читали солдатские письма...

И вдруг я вздрогнул, услышав свою фамилию. Читалось мое письмо, отправленное Славе Мартьянову, тогда еще школьнику, в 1941 году. Голос у девочки был печальным, особенно когда она сообщила, что автора письма, к сожалению, тоже нет в живых. Бережно отложив письмо в сторону, она тихо добавила, имея в виду, очевидно, всех не вернувшихся с войны: «Как много смогли бы они сделать, сколько пользы принести Отечеству!»

Странное чувство охватило меня. Пришлось объявиться. Как-то тихо ахнул, кто-то откинул угол плащ-палатки, закрывавшей дневной свет. Ведущая смутилась, не особенно, впрочем, удивившись происшедшей метаморфозе, пригласила меня встать. Встал, поклонился, ответил на какие-то вопросы, попросил извинения и вышел. И знаешь, вдруг с пронзительной остротой ощутил, какая громадная пропасть времени пролегла между ними и нами: ведь когда началась война, не было на свете даже их пап и мам...

Я медленно брел потом по заметенной снегом улице Островского, и дальше, мимо Мучных рядов, к Молочной горе, над которой возвышался памятник Ивану Сусанину, а в голове неотступно стучало: «Смогли бы...»

Сусанин с нетающими снежинками на непокрытой голове и на рукаве армяка пристально вглядывался в заволжскую даль. Конечно, смогли бы, — кажется, говорил его взгляд. — Но можно ли сделать для Родины больше, чем отдать за нее жизнь!

Виктор Волков

В АЭРОКЛУБЕ

Под ногами булыжник серый, по четыре шагаем в ряд. Я по росту в шеренге первый, и, конечно, чертовски рад.

Километр с небольшим, не более, мы сегодня в строю идем. Ждет нас в ближнем ячменном поле наш учебный аэродром.

Авангаре, открытом настежь, Зачехленный стоит «ПО-2». — Вот знакомьтесь! Протрите! Смажьте! — Командира звучат слова.

Фюзеляж, до хвоста протертый, блещет, — пятнышка не найти! — Ну-ка быстро, бегом в каптерку: да «компрессию» принести! Я теорию знал неплохо. Но такое тогда стряслось... Возвращаюсь ни с чем под хохот, раздосадованный до слез.

Наш инструктор смеется тоже: «Что, попался, брат, на крючок!» Это с каждым случиться может, Но отрадно, что не «сачок».

Так знакомимся с самолетом. Ни обид и ни лени нет. И гордимся своей работой Мы, пилоты в семнадцать лет.

* * *

Когда нас «юнкерсы» бомбили И шла на нас фашистов рать, О, как мы жизнь тогда любили И не хотели умирать...

К земле прижатый иль пригнутый На рубеже смертельном том Солдат, я думал в те минуты: Меня убьют, а что ж потом?

Потом в воронке закопают, Как все отдавшего сполна... Но было горько: не узнаю, Когда же кончится война...

* * *

Боль в глазах... Свистящее дыханье... Ночь без звезд, без проблеска огня, Подавляя шаткое сознанье, Ополчилась грозно на меня.

В голове проносится виденье... Вот лечу в заоблачный простор; Словно сердца ровное биенье, Безотказно действует мотор.

А в палате солнышко сияет. Далеко тревожное вчера. И в заботе голову склоняет Надо мной дежурная сестра.

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

Из романа «Спасенному рай»

То, что не высказал я, Сильнее того, что сказал. Из древней поэзии

Через хляби болотные, через неволю долгую и мученья жуткие ходит молчаливая память по той незабвенной просеке, где однажды повстречались Таня и Василий.

Помнится, как легко и радостно поднимались на взгорье заречные леса: просветленные палевые осинники, желтеющие березняки, ватаги бахвалистых кленов. Не эти болотистые леса проглядывает память, а свои, неустрашимые и надежные, большими тайными стройками не тронутые, колючей проволокой на загоны не поделенные.

Через дожди и туманы пробивается память на тропочку лесную, спешит из прохладных чащ к реке, а там — по серебристо-звонкому перекату перебегает она вслед за мальчишками и девчонками, чтобы погреться на уклонистом запеске. Воспоминания согревают. Душа только ими существует, только в них — услада и надежда. «Та-волга. Милая, родная Таволга», — неслышно шевелятся губы. Не сказать, не потому что не сумеешь, а — боязно произнести.

Василий отвык думать о том, что было вчера, неделю, месяц и даже года три назад — однообразие приучило терять счет времени, иногда и сам себе казался старцем с безысходной участью. Дней череда превратилась в тягучий серый поток. Не обозначали душевных просветов ни вечерние, ни утренние зори, если они и пробивались когда под свинцовыми облаками. Почти не ощущалась разница между ночью и днем, между весной и осенью.

Все тяжкое время будто бы границей разделено: справа — западное, чужестранное, памятное неотступной мечтой бежать из плена, а слева — восточное, наполненное думами о близости родного дома, разговорами-размышлениями об искуплении вины, о том, будет ли когда преодолена эта виноватость не тобой самим, не слабостью твоей, не помыслом, не поступком, а кем-то иным, чем-то свыше, помимо жизни, правды и воли каждого, исполняющего приказ.

Что он знал о своем окопе, когда окружали? Что он знал, когда, уйдя в разведку на передовую, оказался вдруг в глубоком немецком тылу и был внезапно придавлен? Разве мог он знать, куда волокут, оглушив прикладом?
Под Старой Руссой после ночного боя в траншеях нава-

Под Старой Руссой после ночного боя в траншеях навалом остались такие же парни. От дивизии едва ли уцелела рота. Продвигался вперед в разведку, а голову приподнял – со всех сторон немцы. Затаился... И другие смогли затаиться.

Потом долго шли по тылам, ввязывались в перестрелки, пока боеприпасы не кончились. Разведывать старший под утро послал. Пошел Иванов Василий. Надолго ушел по тылам противника — до сорок шестого года из лагеря в лагерь, а потом из западного — в восточный еще неизвестно на сколь определили...

Течет серое время. Прошлая весна ничем не отличалась от прошлой и нынешней ранней осени. И год, и два с половиной назад все было так же окрашено в болотистый цвет.

Все так же чавкают редкие тяжелые шаги идущих впереди, идущих следом. Нет реки, перекатов, теплого запеска... И удастся ли когда-нибудь выйти на свой берег?.. Западное время он старался не вспоминать, но клокотала в ушах чужая гортанная речь, громыхали собаки возле фабричной отработанной маслянистой воды, в которой однажды спрятался. И снова ныло все тело, будто бы опять истерзан зубами растравленных собак. Запах разъяренной псины сбивал дыхание, и голова кружилась, словно ударили прикладом по затылку. Не надо, память, не ходи, не страдай в тех заграничных коридорах. Замри, затаись. Онемей. Зачем повторять страдания? Нет уже сил для того, не осталось.

Лучше думать о Та-вол-ге. Чуешь, долетает из низины давний земляничный пар? Земляница, душица, голубица, черница. Морошка, морок, мор... Нет, лучше — земляница, мятлица, лен, конопля, чугун овсяного киселя, да чугун горохового. На тарелке кисель-то желтыми ломтиками. С маслицем льняным. Чу, малина, смо-ро-дина. Ро-ди-на... «Из нагана вылетала пуля, как смородина. Я на Таволге родился. Там, в Зоряне, родина...»

Вспоминал названья других деревень: Топорково, Ложково, Васиялово, Тюково, Тупик, Бутырки, Лубеник... Вспоминал названья деревьев; всяческую малую травку, пусть невидимую, осязаемо ладонью ласкал.

«Там гармошка заиграла – здесь певцу не утерпеть...» «У меня, соколика, есть два брата орлика. Два браточка, третий – я! Гуляй, головушка моя».

Володька да Ленька... Наивно-веселые. Любопытненькие. Все высматривали да подсматривали: а где это Вася Таню свою целовать будет? Песня зорянки слышалась, чуть дальше под горою возле ручья — Таня Залесова смеялась. Ногами с мостика бултыхает — брызги радугу обозначают над розовыми коленями. Огневушечка, свет ласковый. Молния треснула, громыхнуло как будто бы в самом деле, хотя снежная слякоть вокруг.

Не сейчас мелькнула молния, не сейчас громыхнуло. Но в этой стороне выстрелами отозвалось. Сейчас прикажут идти. Хватит ли сил подняться? Позволил бы Носков еще передохнуть под этой уютной елкой. Сам-то он не волен в себе, оглядывается туда-сюда. Махнул рукой: э, была не была, все одно нехорошо... Опять он сообразил, что можно будет вслед к лесорубам пристроиться — они последними пробредут.

Василий почему-то не взглянул на Носкова, видел только его сапоги. Не осознавал, кто перед ним, где сам находится: в войну еще или после войны уже — не было разницы, хотя давно уже засохли в горле звуки ликованья по случаю победы. По случаю? Да, случилась, пришла все-таки победа и без него... Он даже написать не мог об этом. И сейчас нету права писать. Послать бы письмецо с весенними журавлями, да до весны далеко, дожить надо. Письмецо короткое отправить бы отцу с матерью. «Папа и мама... Я жив. И сам

ничего, только простуда. Не безрукий, не хромой. Не слепой и не оглох совсем-то. — Он передумал на этом слове, исправил бы написанное. — Что со мной — долго объяснять. Жив, не калека. В плену было тяжело, а здесь ничего. Немного осталось отбывать. Скоро с этого места повезут незнамо куда. Может, по нашей железной дороге через станцию Марьчно. Хоть в щелочку погляжу. Тане Залесовой передайте, чтобы не ждала. Но пусть верит: я ни в чем не виноват. Я все помню, я знаю, что мы будем вместе. Кто дает мне это знание — понять не могу...»

По снежной слякоти палкой разве напишешь для своего утешения — и за это немилость от начальства падет, только попадись: надзирателям повод нужен, чтобы поиздеваться. Такое заведено отношение к вызволенным из плена. Это надо учитывать, из общего потока ничем выделяться нельзя. Сам с собой общайся незаметно, лишнюю задумчивость не выказывай. Читай разбрызганные черные следы идущих впереди, догадывайся о том, кто и как себя чувствует, не теряй самообладания, не забывайся, а то споткнешься, упадешь — и оборвется твой путь на севере диком, в безымянном болоте. Каждый шаг, каждое движение надо просчитывать, подбодряясь тайными мыслями о том, что вот еще ни разу не упал, можешь представлять другую — деревенскую осеннюю пору...

* * *

Над лесом с высоченного столба раздался резкий гудок. После сухого треска властный голос оповещал все живое на десятки верст:

— Здесь каждый на виду. Каждый на учете. Па-а-дъем! Не затаиться, не спрятаться. Есть хозяин-владыка в этом лесу. Везде — владыка, только в разных местах он принимает разное обличье: то человека, то черта, то ангела, то отца всех народов, то гения, то палача — мало ли какое вздумается ему принять. Владыка, он и есть владыка, над всем сущим у него власть беспредельная. Покорные исполнители

несут волю владыки в самые отдаленные земли, за леса и горы, за разливы морей-океанов и просторы пустыни. Никто не имеет права, не должен иметь желания сделать хотя бы единственный шаг независимо от него, повсюду напоминает о себе бессмертное владычество. И память твоя не свободна, и душа трепещет при мысли о нем, будто о всемогущем Боге. Отца и мать забудешь; встретив брата, усомнишься в родстве или убоишься кровного родства, потому что никого не должно быть роднее повелевающего судьбами миллионов.

Василий Тимофеевич Иванов будто бы слышал сквозь сон от своих просвещенных соседей про особую, непостижимую сущность владыки.

В колыханье болотной жижи, в скрипах ободранного леденящими ветрами хвойного молодняка, в свинцовой тяжести бесконечных облаков, за перекосившимися стенами бараков – всюду есть глаза и уши, способные год от года все дальше видеть и слышать. Неужели над мыслью и памятью возможен многовековой надзор? Неужели в сокровенных думах и тайных чувствах не свободен смертный человек? Разве это неминуемо: еще ты не успел подумать, а служителям владыки все известно? Если так, сторожитьа служителям владыки все известно? Если так, сторожиться, таиться, молчать нет смысла. И долгую думу о том, как бы вырваться из болотистой загонки да спастись, незачем скрывать. Бояться нечего. И страх этот должен пройти. Чего же бояться теперь человеку после всего, что сделано с ним? Разве одного, что не так будет понят его взгляд, его жест, его вздох. Значит, никуда не укрыться, нигде не затаиться, невозможно стать самим собой. Значит, сумеешь преодолеть мистический ужас, только презирая и предавая самого себя? Стать немым, глухим, незрячим, но способным выполнять работу, таскать тачку с влажным песком, нагруженную «горочкой»? Не лучше ли исчезнуть, в костре сгореть? Но, говорят, возле костра, в воде и в снегу — все те же глаза и уши. Молчание в общем потоке — единственный способ жить. Но если так изо дня в день — додумаешься до одного: скорей бы смерть пришла, чтобы отмучиться... отмучиться...

Василий пугался странности своих рассуждений, расслабленно откидывался назад и ударялся затылком в промерзлый бетон, терял сознанье. Но находились люди, способные замечать его уединенье и отчаянье; возвращали к жизни, дослав каким-то целительным травяным настоем холодеющему телу энергию движения. Душа качалась на желтых простынях, уже не ведая страха, и постепенно выносила память на дальнюю сокровенную просеку. А там становилось легче. Отец и мать брали под руки, вели в дом — в высокий звучный пятистенок. Кормили сметаной и земляникой с медом. И говорили о том, что через несколько дней уже можно будет есть куриный бульон, ушицу из сорьеза...

Память оживляет душу, дает возможность соприкасаться с другим человеком. Если думаешь о нем заботливо и душевно, другой обязательно и через большое расстояние это чувствует. Не потому ли в Зоряне по ночам плачет девушка Татьяна, верит в возвращение сына больная мать Евдокия. Когда в мировом пространстве перекрещиваются взаимные думы даже незнакомых людей, возникает общая тревога или общая печаль. И радость может стать общей.

Можно не видеть, не знать человека, никогда не встречаться с ним, а сочувствовать, как родному, самому близкому. Случится при встрече вспомнить какой-то день и час в разговоре — станет ясно: одинаково горько было обоим.

Василий Старостин

«БОГАТЫРИ НА РУСИ» (Из былинного сказания)

* * *

Думу вздумал Чернобог, дело делать стал. Напускал на изваянья богатырские Рать свою колдовскую, ту тьмочисленную. Разбегался первый ратник, ударялся он -И от крепи богатырской отлетал-улетал, Упадал серым камнем, валуном в траву, Ано, крепость высока, невредима стоит! Ударялся и второй чернобогов вой О высокий оплот — отлетал-упадал Валуном-серяком во болотину. Возъярился Чернобог, бельма вытаращил, Уши вывострил, язык выпустил, Завизжал-зарычал на несметную рать, Напускал ее на крепость богатырскую. Разгонялись-налетали воеватели, На ногах, на бегах, на рысях, на конях – Не пробили непробивного камени: Ни до трещины, ни до царапины -Прочь все поотлетали-поотскакивали, Валунами-каменьем меж бурьянов, осок, По яругам, по топям, по грязивым местам, По лесам, пустырям порассыпалися, Оставался Чернобог в одиночестве. Силу буйную колдовскую свою Поистратил он на Каменном побоище, А сгубить богатырства на Руси не смог. Обессилен и слаб, под землею сник. Через громы, ветра посвистучие Взрокотала мне Волга-матушка: «Есть и будут они, богатыри, на Руси, Да незримо богатырство святорусское, И нетленно в веках, в русских людях живет, Им стояла и стоит Русь светлая, Крепче камени богатырский дух!»

Николай Колотилов

ДАВАЙ ПОТОЛКУЕМ

Давай потолкуем Ты вряд ли сам Об этом расскажешь толково. В леса

на болота

Спускался десант В окрестностях древнего Пскова Ты прыгнул.

Толчок.

Над твоей головой Раскинулся шелк парашюта.

Вздохнул.

Осмотрелся:

Как будто живой.

Ивту

вихревую минуту

Твой друг,

Твой ровесник,

Твой близкий земляк

Летел над тобой, словно камень

Ты глянул.

Ты замер.

Ты силы напряг.

Рванулся к нему

И - руками

За стропы вцепился.

Пусть ногти сорвал.

Пусть кровь из ладоней струилась,

Ты боли не чувствовал

Ты ликовал:

Bce

Так хорошо

получилось -

Ты спас

Ты не выпустил друга из рук.

Уже за туманы ушло то Суровое время Вдруг

видишь: твой друг Стал падать в иное болото. В пучину, что может навек засосать Его

от лихого паденья,
По правде сказать,
Ты пытался спасать,
Но так, без особого рвенья.
Плечами пожал: виноват, дескать,

Такому не впрок чувство локтя. Не спорим:

виновен.

Но вспомни десант И ногти, свои потемневшие ногти.

ОДНОМУ ИЗ МОДНЫХ КОЛЛЕГ

В стихах моих Вы встретите гримасою Присутствие некрасовского стиля. Ах, сколько, мол, серятины, дерьма суют! Уж лучше бы в корзинку их свалили. Вполне согласен с Вашей резкой визою! Я сам об этом очень беспокоюсь: Согласен я, что в лирике, как в физике Неутомимый требуется поиск. Но лучше быть похожим на Некрасов, Быть лучше старомодным совершенно, Чем недругам страны своей подплясывать, Новаторства искать в больных душевно. Он, мой земляк, скорбел судьбою Родины, Стихи его слезой лились и кровью А Ваши модернистские уродины К народу ли проникнуты любовью?

Иль мизерным хотя бы уважением? В понятий не держите такое — Своим литературным положением Ваш налощенный брат обеспокоен. И Вы у тех прослыть хотите гением. Кто лезет перед Западом из кожи. А им такое дай смехотворение. Которое ни на что не похоже: Ни складу чтоб, ни знаков препинания. А в смысле - мрак, осенний вечер мглистый И Вам народным кажется признанием Истошный рев завзятых коктейлистов. Не заблуждайтесь! Те, что яро хлопают, Любую плесень с диким визгом слижут, Любую пакость без разбора слопают, Лишь пахла бы Нью-Йорком или Парижем.

(Россия — мать! Престиж твой возвышается. В восторге мир от нашей бурной нови. Но саламандры бойко размножаются И я, страна, частично в том виновен. Что мало заливаю скипидару я За их пятнистую расхоленную шкуру И вот, как видишь, наношу удары я По одному из ихних трубадуров.)

ТОМУ, КТО БОИТСЯ КРИТИКОВАТЬ

Если где увидишь непорядки, Не ропщи с оглядкой за углом, Не играй с душой своею в прятки, Смело бейся с недобитым злом. На тебя посыплются нападки, Припекут, возможно, и до слез. Не робей: в любой жестокой схватке Правда Кривде утирала нос.

САЛЮТ В СТРИЖАТАХ

Рассказ

За долгую-то войну поустали все крепко.

К месту ли, не к месту, но особо и опять скажу про наш, ребячий отдых-сон.

В бригаде, бывало, парнишка-тракторист из-за руля вылезет, место сменщику уступит да тут же, на пашне, так прямо в борозду и ткнется:

- Спать, спать... Бригадир Ваня-Дедок кричит:
- Запашут тебя здесь!

А парнишка ухом не ведет. Он уже пристроил чумазые ладони под голову, ему свежая борозда как подушка. Вот бригадир и тянет его на деревенскую квартиру чуть ли не на себе. А назавтра опять с ним, будто нянька, возится: трясет, расталкивает, поднимает на работу.

Меня самого таким же вот манером не раз на пашне будили, не раз с пашни приводили. Валясь в избе на пол, на матрас, только и успеешь, бывало, бормотнуть: «У напарника, у Кольки, трактор не барахлит? Пошел?», а бригадир только и успеет ответить: «Пошел, пошел...» – и ты вмиг как провалился! Тебя словно уж нету до новой побудки, до новой пересменки.

Но в то майское утро я вдруг проснулся сам. Верней, не совсем тоже сам, а от звонкого удара в окно, от небывалого на улице крика, от конского топота.

Я как лежал накрытый рабочей своей стеганкой, так с этой стеганкой в руках за дверь и вылетел. Смотрю, а на улице впрямь невиданное зрелище. От избы к избе скачет сельсоветский мерин, на нем вершая, но без седла и сама босая да в одном платьишке председатель сельского Совета Клавдия Бурцева.

Мерин подковами намолачивает: гр-руп! Гр-руп! Гр-руп! А Клавдия хлещет березовой веткой по пролетающим мимо избяным окнам, кричит заполошным голосом:

- Вставайте! Вставайте! Вставайте!

И все, бухая дверями, выскакивают; вся улица полна женщин, стариков, старух, местных мальчишек, местных девчонок.

Смотрю, и наш бригадир Ваня тут. Я к нему:

- Что стряслось-то?

А он сгреб меня, и хоть не шибко сильным был, а меня теперь до боли тиснул и орет:

– Победа!

Я от радости туда-сюда засовался, ору тоже:

– В поля надо бежать! Кольку-сменщика из вестить! Петухова с его напарником известить!

Да вижу: и Колька мчится, а следом и другие наши ребята-трактористы к деревне бегут, спешат — Клавдия на чубаром-то успела облетать и окрестные поля.

И вот мы мечемся по деревне радостной толпой. Шумим, галдим, а что дальше делать — не знаем. Но сделать что-то надо, и тут опять подал голос бригадир Ваня:

– Гляньте, в Стрижатах воинский эшелон встал! Аида к нему: чего это мы, разини, топчемся на одном месте?

А мы и впрямь от счастья будто ослепли, хотя здешняя небольшая, но всегда звенящая паровозными гудками станция— от деревни подать рукой. Да и вся она— с тополями, со стрижами, с ласточками в синеве над башней водокачки— стоит на таком высоком взъеме, что ее, наверно, видать за сто верст.

Только дело теперь не в этом красивом виде, а дело в том, что на станционных путях взаправду эшелон.

Воинский эшелон – с вагонами-теплушками, с танками на тяжелых платформах. Паровоз укатил на заправку, и, куда направлен путь эшелона, мы не узнаем. Возможно, после боев на передышку; возможно, после передышки все еще в сторону фронта, которого вот уже и не стало, но и это сейчас не самое важное для нас. А главное – там солдаты, там бойцы; там те, кто и подарил нам этот нынешний праздник!

И мы всей деревней, от мала до велика, вываливаемся за околицу. Мы бежим в гору к станции. Клавдия — с нами. Чубарого своего она покинула у чьего-то палисада и теперь сверкает голыми пятками по прохладной земле так, что и нам, пацанам да девчонкам, за ней не угнаться.

На самой же станции прямо возле колес платформы, возле танков, прямо на сверкающих от мазутных лужиц, от весеннего света путях ликование похлеще нашего.

Тут пляс, музыка, гармонь! Лица нляеунов из-под танкистских шлемов сияют. Шпалы, рельсы, путевая гулкая земля так под каблуками ходуном и ходят. А гармонь в руках танкиста-гармониста извивается, заливается. И вся она – в латках. Вся она бита-перебита, чинена-перечинена, сразу видно: повоевала и она. Повоевала, да вот задора не потеряла! Ее голос лишь тогда захлебнулся, когда навалилась наша деревенская пестрая ватага.

И тут опять пошли поздравленья, опять – кто в радостный смех, а кто и в плач.

Клавдия подлетает к самому пожилому танкисту. На нем, как на всех, темный комбинезон. Но по ремням, по фуражке, а больше по уверенному, хотя и тоже веселому взгляду понятно: он надо всеми здесь главный.

Клавдия прямо ему и кричит:

- Товарищ командир! Товарищ командир! В Москве нынче салют за салютом, а в наших маленьких Стрижатах салюта нет... Так дайте я хоть просто вас обни-My!
- Мы тоже! вмиг зашумели Клавдины подруги-женшины.
- И мы! И мы! завизжали в толпе девчонки, а командир шутливо загородился:
- Что вы! Обнимите лучше моих молодцов-бойцов... А салют будет! Он и маленьким Стрижатам положен.

И, откуда ни возьмись – должно быть, подали танкисты, - в руке у него очутился большой, со странным дулом пистолет.

Командир стал его медленно поднимать. Мы, деревенские, в ожидании грома-выстрела втянули головы в плечи. Но командир отчего-то раздумал, почему-то стал смотреть на меня. Не на Клавдию стал смотреть, не на нашего бригадира, не на Кольку с Витькой, моих приятелей, которые вылезли вперед, а на меня. И конечно, все тоже глядят теперь в мою сторону.

У меня на плечах промасленная стеганка. Она висит внакидку. Я ее поправляю, на командира тоже взглядываю,

думаю: «Чего это он? Может, я на его сына похож? Бывает...»

А командир и стеганку тянет к себе, и меня вместе с ней тянет, говорит:

Тракторист, что ли?

Я не тушуюсь, отчеканиваю, как полагается:

– Так точно!

И все, особенно бойцы, засмеялись, а мой бригадир и наставник Ваня-Дедок весело доложил:

- Он за рулем почти всю войну. Почти от звонка до звонка.
- А чего ж ростом-то не вышел? Чего ж не подрос? Некогда было? опять спрашивает командир, и вижу: он-то сам не смеется нисколько, ничуть не улыбается. Всем вокруг весело, а ему нет.

Тогда отвечаю без малейшей лихости:

– Выходит, некогда было...– Но тут же поднимаю голову: – Зато наверняка расти начну с нынешнего дня.

И командир засмеялся вместе со всеми, и вдруг пистолетище этот опустил мне прямо в ладонь:

– Ну, вот и дай салют! Дай салют за победу, за то, чтобы никакой войны больше не было никогда. Пусть это сбудется... Пли!

Как все сразу у меня получилось, даже непонятно. Но только и пистолет я поднял, и гашетку нажал в один точный миг с командой. Толкнув мою ладонь, ударил выстрел – в синюю высоту пошла алая ракета.

Шла она долго. Полыхала ярко. И видели ее, должно быть, в самых дальних селах, в деревнях и деревеньках. Видел ее, наверное, каждый, кто глянул в эту минуту в сторону наших Стрижат.

А когда ракета рассыпалась звездами, когда исчез даже дымок от нее, то вдруг стало еще праздничней. Небо, облака, зеленые рощи, распаханные поля, солнечные за ними кровли и убегающие куда-то, может в сторону Москвы, весенние дороги — все стало как бы еще новей. И тут наши кинулись обнимать не только бойцов-танкистов, но и командира. Его принялись даже качать. А Клавдия так голосом и звенела, будто складывала вслух стихотворение или песню:

Пускай сбываются ваши золотые слова всегда! Пускай не будет больше войны никогда!

И я – кричал. И я – будто пел. И честное слово, я в эту минуту рос! Мне казалось, я даже чувствовал: меня поднимают все выше да выше чьи-то большие ладони.

Галина Милова

ПРАСКОВЬЯ ФЕДОРОВНА

Прасковья Федоровна, здравствуйте! Опять в Ярилины края пришла я к вам за словом ласковым, к живой воде вернулась я.

Нет, я не птица перелетная, не гостья в вашей стороне... Ваш дом сосновый всеми окнами приветно глянул в сердце мне.

Открыта дверь для звона птичьего, зовет широкое крыльцо. И ветер русского величия мне с торжеством подул в лицо.

Вхожу в просторы утра ясного, как на горе, вдыхаю высь.
—Прасковья Федоровна, здравствуйте! — И у порога обнялись.

—Бери рушник, садись, покушаем...— И в хлопотах кружить пошла. Гостеприимством и радушием я тихий дом ваш назвала. Я к вам пришла за словом ласковым, как дар души его приму...
Прасковья Федоровна, здравствуйте, сияйте, хлопочите, властвуйте на радость нам в своем дому!

САМОЦВЕТЫ

Не все для тебя колыбельные спеты, не все еще сказки из детства ушли, но в быстрых ручонках твоих — самоцветы, сокровища мира, улыбки земли.

Алмазы в траве для тебя заблестели, а вон земляника — рубиновый цвет. К лесным ручейкам, к малахитовым елям ты ножкой упрямо печатаешь след.

Ты в завтра уносишь кристаллы вселенной, нацелены в звезды твои корабли. Из всех самоцветов ты — самый бесценный, сокровище мира, улыбка земли.

Евгений Старшинов

У ВЕЧНОГО ОГНЯ

9 мая 1975 года. Ленинград.

Я у Вечного огня. Торжественная и грустная музыка. Люди стоят, чуть склонив головы. Многие кладут к плитам живые цветы. Я думаю о Юре, вспоминаю, что в последний день своего пребывания на фронте он с отделением был в разведке.

Под ногами клонятся травы.

Мы идем выполнять приказ...

Последнее его письмо было от 24 декабря 1941 года. А затем бодрая, жизнерадостная открытка, извещающая о том, что он стал лейтенантом. Долго никто не знал, куда он был направлен, но потом выяснилось, что он погиб в 1942 году под Новгородом. Погиб как сотни его одногодков, как тысячи людей поколения, к которому принадлежал он, как те, с кем вместе воевал и я.

День Победы. Да не просто День Победы, а тридцатилетие со Дня Победы.

А годов через сорок пять Наше доблестное поколение Будут с гордостью вспоминать.

Стоя у Вечного огня, я снова и снова думаю о поколении, которое со школьной скамьи шагнуло в сырой блиндаж. Если бы не война, каких высот достигли бы те молодые люди, которые жили в сороковых годах. Сколько талантов они таили в себе! Ученые, поэты, художники, архитекторы, композиторы могли бы вырасти из этих ребят. Но, видимо, миссия их состояла в том, чтобы отстоять Родину от врагов во время Отечественной войны. Для этого тоже нужен был талант, талант сыновней любви к Родине и преданности народу. И этот талант был у них.

От составителя

Евгений Старшинов по праву памяти и долга собрал книгу Юрия Баранова «Голубой разлив» (Дневники, письма, стихотворения). Издана с большим трудом только в 1988 году

Отмечаем День Победы 9 мая 2010 года. Еще тридцать пять лет пережито. Слышат ли Победители за вечными огнями нашу благодарную память...

ВЕНОК от детей военного времени



Владимир Костров

На открытие скульптуры «Теркин и Твардовский» в Смоленске

Вновь над кручею днепровской Из родной земли сырой Встали Теркин и Твардовский Где тут автор, где герой?

Рядом сели, как когда-то, Чарку выпить не спеша, Злой годины два солдата, В каждом русская душа.

Два солдата боевые, Выполнявшие приказ, «Люди теплые, живые», Может быть, живее нас.

И с тревогою спросили, Нетерпенья не тая: «Что там, где она, Россия, По какой рубеж своя?»

Мы знамена полковые, Ненавистные врагам, И ромашки полевые Положили к их ногам.

Мы стыдливо промолчали — Нам печаль уста свела. Лишь негромко прозвучали В куполах колокола.

И тогда, на гимнастерке Оправляя смятый край, Мне Твардовский или Теркин Так сказал: «Не унывай. Не зарвемся, так прорвемся, Будем живы — не помрем. Срок придет, назад вернемся, Что отдали — все вернем».

Над днепровской гладью водной Принимаю ваш завет, Дорогой герой народный И любимый мой поэт.

И для жизни многотрудной, Чтоб ушла с души тоска, Я кладу в карман нагрудный Горсть смоленского песка.

Чтобы с горьким многолюдьем Жить заботою одной, Чтобы слышать полной грудью Вечный зов земли родной!

* * *

Смуту и безверье не приемль, А иначе точно быть беде... Над рекой Великой белый кремль, Как Христос, идущий по воде. Прикоснись душою к старине Мимо деклараций и затей. С каждым годом по родной стране Меньше километров и детей. Кто бы, что и как ни говорил, Только «Нет!» в ответ ему скажи. От чудской волны и до Курил Подступают к горлу рубежи. У других подачку не моля, Каждому не открывай дверей. Глубока российская земля -Глубже океанов и морей.

Не обходят грозы стороной, Падает и каменная кладь. Русский Бог за белою стеной, Псковский кремль за нашею спиной Некуда нам дальше отступать.

возвращение

Как вступление к «Хаджи-Мурату», сторона моя репьем богата (стойкий, черт — попробуй оторви!). Да еще грачами да ручьями, круглыми, протяжными речами, как ручьи, журчащими в крови... Конский шар катну ботинком узким, кто их знает, шведским ли, французским.. Дом родимый — глаз не оторвать! Грустная и кроткая природа, вот она стоит у огорода маленькая седенькая мать. Рядом папа крутит папиросу. Век тебя согнул, как знак вопроса, и уже не разогнуть спины. Здравствуй, тетка, божий одуванчик, это я — ваш белобрысый мальчик. Слава богу, слезы солоны. Вашими трудами, вашим хлебом я живу между землей и небом. Мамочка, ты узнаешь меня? Я твой сын! Я овощ с этой грядки. Видишь – плачу, значит, все в порядке: если плачу, значит, это я.

Владимир Серов

MAME

1

Я помню: мать работала в две смены И чуть не засыпала на ходу. Для денег? Что ж. деньгам мы знали цену. Выкраивая только на еду. Ей говорили: «Аннушка, устала, Побереги здоровье, отдохни.» Она от всех, упрямая, скрывала, Как тосковало сердце в эти дни. И вот однажды, в мокрый день осенний, Пришла беда нежданная в семью, Через порог увидев извещенье, Без чувств упала мама на скамью. Мальчишка! Я не плакал, я не понял, Когда, в лицо ей брызгая водой, Услышал вдруг в коротких хриплых стонах Обрывки слов: «любимый... дорогой»

2

Мне сорок лет. О господи, уж сорок! До лет таких дожить ты не смогла. Но вижу я, как выйдя на пригорок, Стоишь ты на околице села. У тех березок, что к льняному полю Пришли однажды и всю жизнь стоят, И сединою мшистою, как солью, Стволы их повзрослевшие блестят.

Может, приснился мне синий рассвет? Может, пропал тот серебряный след В белой траве возле черного пня, Где иван-чай полыхает, маня, Где облака уплывают, как дым, Следом за детством далеким моим? Что же меня ты к себе не зовешь, Красных осин беспокойная дрожь? Что ж отпустила меня навсегда, Ветка сирени с лесного пруда? Я ль тебя выдумал, я ль тебе дал Пять лепестков, на которых гадал? Руки раскину и брошусь в траву, Шелест берез я к себе позову, Куст ивняка на распутье дорог И уцелевший во ржи василек... Ах, как бессмыслен потерянный след... Спит моя мама, как ночью рассвет. Спит она, словно туман у дорог, Как неприметный лесной бугорок, Как иван – чай возле черного пня, Тот, что цветет, никого не маня... Падали белые звезды к ногам... Ты же платок подносила к глазам. Алым салютом цвели города. Что же ты плакала, мама, тогда? Λ юди, вы — люди, ну что я могу, Если весна на другом берегу?

Вячеслав Шапошников

УРОК РИСОВАНИЯ В 42 ГОДУ

Здесь в промороженных углах Седого инея мерцанье. В пальтишках, шапках и платках Мы — на уроке рисованья. Нам тема вольная дана. Но загляни в тетрадь к любому: О сколько грохоту и грому Скрывает эта тишина!.. Что ни листок — война... война...

Сопенье, шмыганье да кашель, Прилежно все наклонены. Смешным усердьем первоклашек Решается исход войны! Горит фашистская броня. Лежат убитые фашисты. Здесь все такие баталисты Работают вокруг меня! Тут вся война — в победном громе! Мы все, как надо, предрекли! Пускай едва на переломе Та, настоящая, вдали.

БРАТУ

Довоенное, давнее фото: Ты плывешь по июльской реке, Нет в улыбке ни тени заботы, И как будто душа – налегке. И, воронки крутя за плечами, Блещет светом полудня вода... Даже кажется: слышу журчанье Сквозь утекшие дни и года... Ощущаю прохладу тех капель, Что видны у тебя на щеке... В дыроватой соломенной шляпе Ты плывешь по июльской реке. Грудь пока не пробита навылет, На руке, занесенной крылом, Целы пальцы... Да минет! Да минет Все, что будет с тобою потом!..

...Мы вдвоем. Оба после купанья: Неподвижны, ленивы, легки... Мы лежим, сохраняя молчанье, На песках возле той же реки.

Вот смотрю я, как будто украдкой, Как играешь ты чистым песком... Но — темнеется шрам над лопаткой! Но — белеется шрам над виском!.. Тишина... Только рыба всплеснется. И, от мыслей моих далека, Все смеется на солнце, смеется Торопливая эта река.

Анатолий Беляев

ВОСПОМИНАНИЕ о давнем празднике

Во всех углах — стрельба: трещит мороз, Сердясь на то, что в избу не пускают, А на полатях — благодать такая. Нам хорошо, нам весело до слез.

А взрослые сидят себе на лавках. Все — женщины, все — бабы, все — они, И тусклый свет семилинейной лампы Дрожит на лицах всей моей родни.

Я очень долго бегал на вокзал И пристально глядел на всех военных, И в каждом встречном папу узнавал, И в каждом ошибался неизменно. «А что осталось, мама, от отца: Вот эти фотокарточки да письма? Вот эта кепка с козырьком отвислым Да сгнившая скамейка у крыльца? Да этот дом, в котором мы живем?» И мама, как умела, объясняла: Остались, мол, костюмы да белье, Но я на хлеб в войну их променяла.

- А что еще?
- Ну, хватит, отвяжись,
 Не зная, что сказать, сердилась мама
 И вдруг светлела:
 Да! Осталась жизнь.
- Вот ты остался разве это мало?

Воздух пахнет тревожно и шало Чем-то свежим. веселым таким: Талам снегом, Корой краснотала, Первой зеленью, Брагой реки.

И пьянит он меня, И врачует, Этот воздух апрельский сквозной, И смеюсь я, И знать не хочу я. Что когда—нибудь будет со мной.

Сергей Потехин

* * *

Отец пришел с войны живой, Не ранен, без медали, И только в том передовой, Что с матерью скандалит...

Все для него уже в былом: Любовь, семья, работа. Лежит в болоте за Днепром Его штрафная рота.

Жил, на целый свет окрысясь. Все едят, а я — говей?.. Вдруг прислали десять тысяч, Пискнул в брюхе соловей.

Подлетели кверху гирьки На тарелочке с нуждой. Накуплю лапши да кильки, Побегу, как молодой.

Отскребли на сердце кошки, Не успел я духом пасть. Разноцветные сапожки На одну сменяю масть.

Всех врагов оставил с носом, Важен, как архиерей. Буду пользоваться спросом, Словно просо у курей.

Навострил Пегас подкову, Бьет копытом: и-го-го! Ой, спасибо Базанкову И компании его!

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

О возвышенном грех не мечтать. Вот и снится нам небо с пеленок. «Научи меня, мама, летать»,— Уговаривал квоку цыпленок.

А в ответ — поучительный квок (У мамаши другие понятья): «Не пищи, успокойся, сынок, Это вовсе не наше занятье».

Собираются куры в кружок, Рассуждают с умом и понятно: «Не умеет летать петушок, Но зато кукарекает знатно».

1991 г.

Леонид Попов

* * *

Сумасшедший вокзал Ярославский, Тетки с сумками валятся навзничь В толчее, в человеческой пустыне Горлом плачет мужчина о сыне. Губы серые шепчут «Серега... Бог-то где?..» Только нет его, бога. Нету бога. И нет ее веры. На перроне галдят пионеры. На перроне — народ балаганит, Злой носильщик толкучку таранит, И среди человечьей пустыни: Плач о сыне, о сыне...

* * *

Одурев от житейской мороки, Хмель остатний в стакане вскружу И кладбищенской сытой сороке Про последние сроки скажу. Бражка-жизнь отходила, и в пору, Комья глины лаская в горсти, По кладбищенскому косогору, Примиряясь, повинно пройти.

В канун поминальной субботы Чуть жив воскружился снежок. Темнело... У дальней заплоты

Вороны сбивались в кружок. И тихо заря догорала В туманных осенних полях, Как будто земля поминала Всех-всех, кто ушел второпях...

* * *

Старыми письмами печку топлю (Совесть хранить не велит), Досыта синее пламя кормлю (Только пожар невелик). Знать, и бумага истлела вконец (Пепел черней воронья), И ничего в этих строчках и нет (Кроме пустого вранья). Этими жаркими прежде «люблю» (Верил которым, дурак) Нынче весь вечер печку топлю, Все не согреюсь никак...

Поздно: учиться «петь-танцевать», Шаркать подошвой по жаркому кругу. Стыдно: поклоны впрок раздавать, Пылко влюбляться в столичную вьюгу, Верить пожатью казенной руки, Честью платить за натужную милость. Время: свои подытожить долги, Благо достаточно их накопилось. Время: припомнить былые грехи, Чтоб понапрасну душа не гордилась. Время: вчитаться в чужие стихи, Чтоб от своих голова не кружилась. Время: последнюю выгрести медь, Но до копейки за все расплатиться, И до рассвета успеть умереть, Чтоб на рассвете свободным родиться.

Нина Снегова

О ВОЕННОМ ХЛЕБЕ

Пока не сгонит журавля С гнезда родного осень—гостья, Водили нас учителя За город— собирать колосья.

И за пергамент впалых щек Мы клали зернышки сухие, Чтоб смочь хоть волоком мешок Тащить для бедственной России.

Зато зимой, в очередях, И с заводским, и с инвалидом Стояли, глаз не отводя, Как равные, с достойным видом.

Для нас, стянувших поясок, Был смертный час врага бесспорен, — Вот сколько значил колосок! Твоя в пекарне горстка зерен!

Служу в конторе именитой, Где нет в помине простоты. И потому глядят сердито В стакане дикие цветы. Я их улыбкою согрею, Чтоб потерпели до шести И чтоб метелочка пырея Могла доверчиво цвести. Тик-так, тик-так! Шуршат бумаги. Тик-так, тик-так! Звенят звонки. И словно крохотные флаги -Ромашки, клевер, васильки. Когда же времечко приспело Ключи повесить на щиты, -Запахли пряно, ошалело В стакане дикие цветы.

возвращение отца

Я не помню божественней мига, Я не знаю торжественней дня: Режет батя ржаную ковригу, Осторожно к себе прислоня. Нож солдатский сурово и нежно Оставляет на корке следы, И впервой в ароматную свежесть Не врывается дух лебеды. Как волнуется нож — торопыга В узловатых руках старшины! Режет батя ржаную ковригу. Он сегодня вернулся с войны..

* * *

Картинки из детства, как кадры кино, Возникнув на миг, пропадают. В скверике пили слепые вино, Ржаным сухарем заедая. Бутылку, на ощупь деля на троих, Склоняли в стакан осторожно. И было, ребята, ей-богу, на них Без боли смотреть невозможно. Глядели на мир вместо глаз ордена С прошедших войну гимнастерок. Багряным рассветом пылала весна В ту послевоенную пору. Для них же внезапно пришедший закат Не сменится больше рассветом. В ответ мне сегодня: «А кто виноват?..» Я с вами – совсем не об этом.

Владимир Максимов

ПРОВОДЫ

Он проводил меня поклоном, поклоном проводила мать, И видел я, что за вагоном Пытался мой отец бежать. Махал.

как крыльями,

руками,

Но вот -

крылом одним -

за грудь!..

Зачем летим? Не знаем сами. Куда летим?.. Куда – нибудь.

Но отзовется сердце стоном. когда за далью вспомню вдруг Отца — вприпрыжку за вагоном — И мой пронзительный испуг.

* * *

Немыслимый грохот. развалины. И ярость слепого огня. Кричали солдаты: «За Сталина!» Но гибли они за меня. И сколько же, сколько по свету Таких безымянных лежит!.. А чем отплачу я за это: Что чувствую, радуюсь — жив? Дорогой иду иль полями, Иль берегом тихой реки, — Глядят на меня их глазами С вопросом немым васильки.

НЕМЕЦ

Был у меня знакомый среди пленных, Показывавший мне средь тишины Открытки с видом города на Рейне, Не знавшего всех ужасов войны. И сыновей, как, русоволосых. И вроде бы красивую жену... На костерке варил тот немец просо, Которого не видел я в войну. Она недавно только отгремела -Неслыханной жестокости пурга, Ее следы... Но вот какое дело: Не чувствовал я в пленнике врага. Но знал уже: С чего бы это ради Быть как они?.. И вижу сквозь года, Как варит кашу немец в Сталинграде И, закипая, булькает вода...

* * *

Судит мальчик Льва Толстого, Судит мальчик без улыбки, И легко слетает слово Про толстовские ошибки

Все-то мальчику открыто, Знает нужные слова О романе, что не читан, О больших ошибках Льва.

Родился я в бревенчатой избе, Где так светло смотрелись половицы, Славянские мне улыбались лица И пели птицы — В печке и в трубе.

Кричали на салфетках петухи, Взирали звери из посудной горки, И сочиняли до утра стихи Сверчки в углу У деревянной переборки.

Моя изба — как маленькая Русь! И ничего я больше не имею... Все говорят, что жить я не умею, Но горе мне, Коль жить я научусь!

Светлана Виноградова

ВДОВЬЕ

Дети всхлипывали негромко. Бабы плакали-голосили. Похоронка за похоронкой — Шла война по моей России.

…А деревня звалась Невестино. На лугах — медвяные росы. По утрам спокойно и весело С песней шли мужики на покосы.

Возвращались домой усталые — Травы в этих краях густые. Улыбались губами алыми Им Прасковьи да Евдокии.

Улыбались... Да вдруг нахлынуло. Тишина показалась громкой. И ушли мужики. И сгинули. Похоронка за похоронкой...

В той избе уж вдова и в той. И у каждой напастей вдвое. И деревня сама собой Стала зваться иначе — Вдовье.

А вокруг — леса порыжевшие, В окна ветками бьют березы. Евдокий глаза постаревшие, Да Прасковей горькие слезы.

…Вдовье, Вдовье! Тишь деревенская. Снова травами пахнет тонко. А в укладках с нарядами женскими — Похоронки, лишь похоронки.

Павел Мельников

ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ

С каждым разом все меньше и меньше Собирается в дни годовщин Воевавших медсестрами женщин, Их руками спасенных мужчин -Чьей отвагою в годы дихие Мать Россия была спасена. На руках бы носить их России, Да не может - больная она. Оказались страшнее орудий, Вражьих бомб и ракет для страны Говорливые скользкие люди, Ненасытные, как грызуны, -И страна побороть не сумела Слов коварных медлительный яд... Но как люди не слова, а дела Ветераны седые стоят, Подпирая Россию плечами, Чтоб не дать ей упасть и пропасть! Суетятся у них под ногами Крысовидные в драчке за власть...

Немало миновало лет, немало Со скорбного июньского числа... Война уже историею стала. Она еще из жизни не ушла. Душе дорога в прошлое открыта. У всех, кто был и не был на войне, Под тусклым пеплом серенького быта Не гаснут искры памяти о ней. Она вдали зловещей птицей кружит... И не оставит боль нас до конца -Супругу, не дождавшуюся мужа, Ребенка, потерявшего отца... А иногда, бессонными ночами, Мы слышим их, мы видим свет их глаз. Они навеки остаются с нами – Безвременно ушедшие от нас.

* * *

Был плач родных. И труб щемящий стон, И стук земли о крышку гробовую... Так навсегда ложился в землю он -Солдат, войну прошедший мировую. Он лег в ту землю, что в боях не раз Спасала от разящего металла, Он в землю лег, которую он спас, Где добрых дел свершить сумел немало Струился с неба скорбный серый свет, В снегах желтела свежая могила... Кто может подсчитать, на сколько лет Солдатский век война укоротила?.. Кто позабудет, чем обязан мир Безвременно ушедшему солдату?! Земля родная, прах его прими, Да будет вечно место это свято!

КАСКАДЕРЫ ВОЙНЫ

Как стрелки на шкальных упорах, Мгновения риска, беды... А все же в лихих каскадерах Кино не имеет нужды. Посыл режиссерской идеи Подхватят всегда «трюкачи» — Ломая и руки, и шеи И днем, и в кромешной ночи. Вздохнешь у экрана нередко: Рискуют и впрямь головой! Но тешится «русской рулеткой» Все круче экран мировой. Гример поперхнется на слове, Ворчит пиротехник, кляня Того, кто командует: «Крови Побольше! Побольше огня!» Художник и огнепоклонник: Что общего? Клином на клин! Но пламя, погром и покойник – Условие номер один. Иначе в работу не примут Сценарий – известная суть. Ведь «мертвые сраму не имут» И мертвым не больно ничуть... Оно-то и верно, пожалуй, Для съемочных смен или дней. Да только змеиное жало Жестокости много длинней.

ПРАЗДНИК

Что я делал, где я был? Тихо в чистом поле. Запах хлеба позабыл, Вкус воды не помню! Соберу колосьев горсть — Тяжело ладони... И хозяин я, и гость Нынче в отчем доме. Я на празднике души: Скатерть – словно небо. А на ней - воды кувшин Да буханка хлеба. Хлеб водою запивал, С юностью калякал. Воду хлебом заедал И от счастья плакал.

* * *

Взгляд тяжелый и шрам на виске — Много лет протянулось в неволе... И пошел он к глубокой реке, И побрел он в широкое поле.

Только не было больше реки, Только поле уже не родило, Не встречались в селе мужики — Всех нужда да бутылка сгубила.

Он, увидев такое, молчал, Долго думал, за что эта плата. А потом, словно зверь, зарычал, А потом, как ребенок, заплакал. И вернулся он ночью назад, И угрюмо сказал часовому: «Пропусти, я свободе не рад, Не могу уже жить по-другому».

Удивленно смотрел часовой На лицо, что белело во мраке, И начальник качал головой, Находя ему место в бараке.

* * *

От высоких деревьев и тихой воды Выйдешь к месту, что миром забыто: Отзвенели луга, отшумели сады, И деревня крест-накрест забита.

Три избы на краю, как три свечки, стоят, Три старухи в них дни доживают. О своем говорят, никого не корят И беды никому не желают.

Им бы хлебца купить, им бы мыла где взять, Привезти бы обычной соломы. А у нас — повороты крутые опять, Коренные опять переломы.

Рубежи покоряли, к рекордам рвались, За туманом бежали из дому... А казалось бы, просто живи и трудись, И давай это делать другому.

Не могли, не хотели? И вот он — итог. Приходите сюда и глядите... Век прогресса и здесь завершает виток — Три избы на безмолвной орбите.

Приехав в тихий городишко, Устав от долгого пути, В гостинице, не маясь слишком, Недорогой приют найти.

И встретить в комнате под вечер Двух мужичков навеселе. И слушать мудрые их речи О городе и о селе.

Пить с ними чай неторопливо, Есть с ними сало не спеша И думать: «Боже, как красива Народа русского душа!»

Проститься с ними тихо, просто — Ведь знались-то всего три дня. Но ощутить внезапно остро, Что эти люди мне родня.

И долго-долго, уезжая, Назад глядеть через стекло... И в сердце жизнь войдет чужая — Тревожно, горестно, светло.

Татьяна Дмитриева

* * *

Что вспомнят дочери мои С душевным трепетом из детства? Каким теплом согреют сердце, Истосковавшись по любви? В продутых ветрами дворах, Где, что ни шаг — косые взгляды, С оглядкой смейся и играй, Где пересудам только рады, Одно спасенье - гаражи, Да поле — там, за гаражами. Звонкоголосые стрижи, На воле вы - не горожане... Ворчат: не та, мол, молодежь!.. Не та. И нам ворчали тоже: Не то надел, не так живешь... Из века в век - одно и то же. И снова — мелом на стене: «Сережа плюс...», - поведав тайну Двору и миру, как родне, Девчонка пишет беспечально. ...А перед сном, в который раз, Попросит дочка вместо сказки: — Мам, расскажи, а как у вас?.. И оживают детства краски.

Прозрачна мысль. Легки шаги. И осень. Созвучна сердцу, холодит мой ум. И кружат листья на речном откосе И проседь — словно изморозь в саду. И, отражаясь в зеркале бездонном Немой воды, неведомых глубин, Слетаются, как в сумку почтальона, Чужие письма – дни моей судьбы. Как имена, что мною позабыты, Вершат обратный времени виток — Туда, где неоткрытые открытья, Туда, где мой родник, где мой исток. Вот молодая мама на гитаре Аккорд замысловатый выдает, И на крылечке старом, с нею в паре, Соседка наша, Сомиха, поет. А там — крыжовник, как и я, — зеленый, Ворсистый, в светлых капельках дождя. ...Не падай, подожди, листочек клена! Взлети, ладошка детская моя! Взмахни в воде — хотя бы отраженьем, Переверни песочные часы... С откоса лет, как солнечные тени, Кружит листва у ног моих босых...

Алексей Зябликов

САМЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ДОВОД

Танки — это главный аргумент! Сам суди: два-три стальных урода Безупречным делают в момент Волеизъявление народа.

Знайте наших! Едоки мослов, Разгильдяи, рокеры и панки, Против ваших маловнятных слов Выдвинут железный довод — танки.

Лучший аргумент — удар в поддых, Но к стенам притиснутые знают: За нехваткой доводов иных Доводы такие выдвигают.

Пресс-папье для легкокрылых тел — Башней поелозит, хлопнет крышкой, Салютуя тем, кто расхотел Быть передвигаемою фишкой.

Утюги для глаженья мозгов, Снадобье от болей в пояснице— Много ли найдется смельчаков Сунуть свою шпажку танку в спицы?

Под напором стали и огня, Как бывало, гнется вражья стая — В стае той, включая и меня, Нынче вся страна моя родная.

Под непробиваемой броней Рычагами двигает с испуга Экипаж машины боевой — Три танкиста, три веселых друга.

Стар и млад приветствует парад: Из раскрытых окон, что над нами, Кружевные чепчики летят С вложенными в чепчики камнями.

Множество чудес таится там, В этой громыхающей жестянке. Не имел бы тяги к поездам — Ездил бы всю жизнь свою на танке!

ТРУБАЧ

С нешибкой бородой а—ля Тальков, В кепчонке, прилепившейся кургузо, Трубач вблизи коммерческих ларьков Играет гимн Советского Союза.

Сегодня музыкант опять в строю, Он, как умеет, свой бросает вызов Торгующему жирному ворью, Любителю рулеток и стриптизов.

Участливо вздыхают старики, Лабазники, зевая, чешут пуза... Летит в избытке страсти и тоски Бессмертный гимн умершего союза.

Но, ненавистью классовой томим, Трубач поднимет мелочь без обиды, Чтоб выпить после службы за помин Под лед ушедшей красной атлантиды.

ПО ПРИЗВАНИЮ

Творческая интеллигенция в военное время

Для настоящего и будущего найдутся уроки в годах Великой Отечественной войны. Поучительный опыт творческой интеллигенции тоже заслуживает внимания при осмыслении недавней истории. Писатели, художники, музыканты, деятели кино и театра выстраивали культуру и духовные настроения на фронте и в тылу. Высокие чувства гражданского долга, любви к Родине в значительной мере приближали Великую Победу. Самосознание народа, мобилизация его духа формировались не только примером и призывами коммунистов, пропагандой и агитацией, историческим напоминанием о роли и традициях российской провинции в борьбе с внешними врагами, но и усилиями творческих работников.

Литераторы Костромы в предвоенные годы уже писали «оборонные», патриотические стихи и рассказы. Один из них – молодой поэт А.Рыкалин, считавший себя представителем «поколения радостных людей», сочинил несколько песен («Походная красноармейская», »Песня о Котовском», «Песня о Чапаеве», «Песня о Тимошенко»). При костромском Доме Красной Армии поэты сформировали литгруппу. 1 июня вышла последняя «мирная» литстраница «Северной правды», в ней опубликованы стихи Н.Соколова, Н.Орлова, Е.Осетрова, В.Пастухова, В.Пилюги и рассказ А.Часовникова «Голубая косынка».

22 июня в учительском институте должен был состояться Лермонтовский вечер... Но указ о введении военного положения и мобилизации все изменил. Поэты, журналисты, писатели тоже пошли на фронт. Вскоре и оттуда, из действующей армии, они начали присылать произведения в родную газету, которая сразу стала работать на Победу. Примечательно, что литературная жизнь активизировалась и была заметно поддержана, как и деятельность всех других творческих коллективов, редактором «Северной правды» Н.Казариным, он словно бы знал тогда слова Николая

Рериха: «Даже ужасающий хаос разделения, упадков, ограничений претворяется в свет и гармонию там, где прикоснулся луч Прекрасного». По этой газете можно проследить, понять опыт культурной работы.

Публикации, вечера, отчеты писателей, обсуждение пьесы В. Лебедева «Максим Горький» в библиотеке им. Крупской, юбилейные торжества, посвященные Грибоедову, Тургеневу, Крылову, отзывы читателей на произведения земляков-фронтовиков – все свидетельствует об активности художественного слова. В городе и по области читают рассказ А.Толстого «Русский характер».12 февраля 1942 года в библиотеке им. Крупской проведено открытое заседание кафедры языка и литературы учительского института. С докладом «Оборона Родины и литература» выступил А.В.Чичерин. Была развернута выставка произведений. Важно заметить, что горком партии проводит общегородские собрания творческих работников. На одном из таких собраний в 1942 году отмечалось: художники дали 50 рисунков для «Окон ТАСС», литераторы выступают в печати и по радио, артисты поставили восемь шефских спектаклей, дали шестьдесят один концерт!..

Появляются значительные публикации (Е.Осетров, А.Никитин, Н.Орлов, А.Жаров и другие авторы); В.Лебедев в октябре 1943 года на собраниях литгруппы читает свой роман «Млечный путь». Обсуждения, творческие отчеты, литературные вечера проходили чаще, чем в наше мирное время. Последовательно, активно работает театр. Режиссер театра им.Островского Минаев, заботясь о повышении твор-

Последовательно, активно работает театр. Режиссер театра им. Островского Минаев, заботясь о повышении творческой культуры, определяет для труппы главные цели в военное время: «Театр должен вдохновлять на подвиги, на самоотверженный труд, показывать средствами театрального воздействия примеры и величие героизма; в образной форме говорить с подмостков о том, что преданность родине, подвиги во имя родины являются единственной вдохновляющей целью каждого. Подмостки театра должны стать источником оптимизма». Спектакли «Батальон идет на запад», «Надежда Дурова», «Мстислав Удалой», комедия Б. Ромашева «С каждым может случиться», «Снегурочка» Островского – часть репертуара во второй год войны.

Костромские работники искусств восприняли ориентир, высказанный т. Щербаковым на торжественном заседании в Москве, посвященном годовщине смерти Ленина: «Тыл питает фронт бойцами, настроениями, идеями». Работники духовной сферы понимали: влияние литературы, искусства важно в создании настроения уверенности. Роль костромского театра в течение войны была особенно значительной в общей системе формирования духовной жизни. Спектакли, концерты, выступления бригад перед фронтовиками, концерты в театре по произведениям местных авторов, сбор от которых поступает на постройку эскадрильи противотанковых самолетов, шефство над госпиталями, детскими домами, выезды в колхозы. 1100 шефских спектаклей, 1000 художественных читок в палатах тяжело раненым бойцам. Приказом начальника Костромского гарнизона объявлено 300 благодарностей артистам драмтеатра им. Островского за обслуживание спектаклями и концертами воинов гарнизона и госпиталей. (Приказ от 23 февраля 1944 г.). Чувство момента и желание создать общественный пафос очевидны в стремлениях театра по многим публикациям. «Сердца патриотов греет великая радость, — писал задолго до Победы художественный руководитель театра А .Михайлов, — и наше искусство обязано уже сейчас поднимать тему радости, тему праздника».

Театр отмечал свое столетие спектаклем «Козьма Минин». К юбилейному спектаклю костюмерный цех подготовил 150 костюмов из парчи, бархата, шелка; было сшито много головных уборов и обуви. В период подготовки юбилейных спектаклей газета постоянно рассказывала о жизни театрального коллектива.

Осенью 1943 года открылся цирк... А в учебных заведениях разучивают текст и ноты нового Гимна. Библиотеки доставляют книги на фабрики и заводы, даже получают премии за массовую работу. Рабочие собирают одежду для жителей освобожденных районов, посылают книги, подписываются на заем и участвуют в художественной самодеятельности. Музыканты выступают перед ними с концертами. Художники устраивают выставки. К 26-й годовщине Красной Армии известные художники Назаров,

Яблоков, Рябиков, Колесов пишут портреты военачальников, пейзажи, сюжетные картины. Начальник областного управления искусств Ларин проводит собеседование с художниками о подготовке работ на московскую выставку. Яблоков, избранный руководить городским Союзом художников, начал писать картину «Козьма Минин», Назаров пишет Ивана Сусанина, Беляев — картину «Партизаны». Действует филиал Союза художников. Возвратясь в сорок второй год, нельзя не обратить внимания на то, как названы эскизы картин для участия в конкурсе: «Прошли немцы» Колесова, «Жертва фашизма» Беляева, «Отъезд сына на фронт» Рябикова, «Организация партизанского отряда» Назарова. Живопись, графика, плакат имели особую тематическую направленность.

Николай Шлеин организует выставки молодых живописцев, на базе своей студии создает художественное училище. Работы костромичей экспонируются на выставках в Ярославле, Иванове, Москве. Запланированы творческие самоотчеты молодых. Появляются костромские сатирические плакаты в «Окнах ТАСС». В 1943 году для всесоюзной выставки «Фронт и тыл» ярославское жюри отобрало 17 картин.

Труднейший, переломный сорок третий... Но газеты постоянно сообщают о работе учреждений культуры, писателей, музыкантов, живописцев, учителей, ученых. Вот несколько сообщений. «Сегодня в помещении клуба на улице Луначарского впервые за время войны открывается большая художественная выставка, на ней представлено около ста работ местных художников».(14 ноября). А 17 октября газета «Северная правда» сообщала: «Недавно Вере Михайловне Шпажниковой присуждено звание заслуженного учителя...». Коротко о других публикациях: концерт в музыкальной школе посвящен П. И Чайковскому; доцент учительского института проводит литературные понедельники в клубе им Коминтерна; объявлены концерты ансамбля Эстонской ССР; открыта заочная средняя школа. И в тех же номерах газеты – постоянные напоминания о светомаскировке, стихи с фронта. 17 октября 1943 года напечатана «Песня о Костроме» Николая Орлова.

Всколыхнула война, громыхая. Наши улицы, наши дома. На защиту родимого края Поднялась и моя Кострома.

Были трудности, горе, лишения... Но литература, театр, музыка подкрепляли дух. И кино содействовало этому. Проводились кинофестивали исторических фильмов. Немало интересных, нестареющих кинофильмов поступало в кинопрокат. «Александр Невский», «Минин и Пожарский», «Богдан Хмельницкий», «Петр?», «Суворов», «Чапаев», «Оборона Царицына», «Как закалялась сталь», «Фронтовые подруги», «Ленинград в дни войны», «Машенька», «Жди меня» — этих названий достаточно, чтобы направленность репертуара была понятна: две линии отчетливы — русская история, укрепляющая чувство патриотизма и собственного достоинства, да дыхание военных суровых дней, требующее стойкости, мужества, веры в Победу.

По рассказам родных, по воспоминаниям фронтовиков и тружеников тыла, по художественной литературе, а теперь еще и по документам мы знаем о том, что важную роль сыграло устное народное творчество. Через фольклор люди выражали свое настроение. Приходится только сожалеть, что в те годы, да и позднее, запретными были байки, анекдоты политического свойства, не уделялось внимание частушкам. В подшивках «Северной правды» за четыре года удалось найти единственную обширную публикацию под рубрикой «Поет колхозная деревня». 12 декабря сорок третьего года К. Сорочинский опубликовал подборку записанных в деревнях частушек под заголовком «Война изменила нашу жизнь».

Вот для примера частушки из той давней подборки:

Раньше рано я вставала И трудилась за двоих. А теперь встаю с зарею И тружусь за семерых... Капать, слезы, погодите На мою на белу грудь... Вам, фашисты, не удастся Силу русскую согнуть.

Но и сила-то была умножена духовным самочувствием, горячим патриотизмом, любовью ко всему родному. Стихийные спевки в поле, на току и на ферме, в цехе и дома, на торфоболоте, когда усталость валила с ног, выручали терпеливых солдаток. Исполнительских профессиональных сил

ливых солдаток. Исполнительских профессиональных сил было мало, не было музыкальных инструментов, грамотных руководителей, но не сетовал народ. И песни часто певали, и смотры художественной самодеятельности проводили.

Костромское объединение композиторов и музыкантов было сформировано в 1942 году. Работали музыкальные школы, затем – музыкальное училище, различные кружки на предприятиях, в избах-читальнях и красных уголках – сложилось разветвленное музыкальное влияние. Комсомольцы с помощью выпускников музыкальных школ проводят в красных уголках музыкальные вечера. Библиотеки, клубы, новые учреждения культуры имели тесную связь с работниками литературы и искусства. Творческие организации объединили способы влияния на духовную жизнь в напряженных буднях. Был создан Дом народного творчества. Комитет по делам искусств организованно возглавил всю культурную работу, постоянно заинтересовывая журналистов и литераторов, артистов и музыкантов, певцов и художников.

Удивляет обилие литературных публикаций, вечеров и писательских поездок, отчетов об этих поездках. Громкие читки, читательские конференции, юбилейные чтения, посвященные классикам. Не оставлено без внимания каждое литературное дарование.

тературное дарование.
Все события культурной жизни по годам войны свидетельствуют о почтении к художественному слову, об активной его работе. Несомненно, центры литературной культуры – учительский институт, библиотека имени Крупской и редакция «Северной правды» – имели на этот счет отчетливую позицию.

На базе опыта, приобретенного в годы войны, в первые послевоенные месяцы все сделано для открытия Костромского книжного издательства, для выпуска литературного сбортима «Мостром».

ника «Кострома».

Перед нами – добрый, поучительный и необходимый опыт творческого содружества всех работников культуры, на основе которого и выстраивалась местная политика.

Борис Гусев

МАЛЬЧИКИ

Мы говорим: «Сухим держите порох!» И в гневе поднимаем кулаки. Но свастики рисуют на заборах Какие-то, должно быть, сопляки. О мальчики, нестреляное племя! О мальчики, нетраченная кровь! Не пасть бы вам пред гадом на колени. Не лечь бы вам живыми в темный ров...

нищий

Я помню нищего. Лохматый и безносый. Он по субботам под окном гнусил. Холщовой торбе не было износу -Он в ней все достояние носил. И я тогда, от страха холодея, Ему кусок получше выносил, Чтоб откупиться от него, злодея, Чтоб он беды какой не нагнусил. Он уходил. И реял рыжий волос, Как пламя, над понурой головой. И раздавался снова скорбный голос, Как смертный зов на улице живой. И улица живая замирала, И детки разбегались .кто куда... Мы в жизни понимали слишком мало – Не от него настигла нас беда...

ПАМЯТНИК СУСАНИНУ

Немало в Волге кануло, как в Лете. А этот твердокаменный старик Сюда пришел из глубины столетий И над рекой незыблемо Стоит: Бушует город у его Подножья, Перед глазами новый век рябит... Играют дети, бьется правда с ложью, И лось хмельной под Домнином трубит. Умолк набат. Сгорели в храме свечи... В тяжелом домотканом зипуне Стоит он, предок мой широкоплечий, Со мною в этой нынешней зиме.

ЗНАКОМОЕ ЛИЦО

Был морозный утренник, а днем обогрело совсем уже весеннее солнце, началась капель, снег на тротуара расползался в лужи. Соснову стало жарко в своем полу шубке, и он расстегнулся, подставляя грудь мартовскому ветерку.

От вокзала в центр города шел автобус. Но и пешком тут было – пустяки, и Соснов не спеша дохромал до гостиницы. Постоял возле нее, посмотрел на озеро, по южному берегу которого раскинулся этот городок. Наст на озере сверкал, темной громадой высился монастырь на острове посреди снеговой глади. Соснов подумал, что надо бы побывать в монастыре, пока стоит лед, и открыл скрипучую дверь гостиницы.

Устроили его хорошо: номер был трехместный, но пока пустовали все койки. Соснов разделся, вынул из портфеля механическую бритву, одеколон. Стал бриться и думать, чем он будет сегодня заниматься.

На завод надо было явиться завтра, — значит, впереди были свободные полдня и целый вечер. Он приехал в городок вторично, уже немного был знаком с ним, знал, что никаких особых достопримечательностей в нем нет, и решил пообедать, прогуляться по магазинам, а вечером сходить в кино

Обедал он в местном ресторане, размещавшемся на втором этаже старинного особняка. Ресторан отличался от обычной столовой только тем, что в меню была водка, посетителей обслуживали неповоротливые, словно загипнотизированные, а потому такие вялые официантки да на стене висела дрянная копия «Запорожцев», которые пишут письмо турецкому султану.

Соснов пообедал и пошел по магазинам. Их было не так уж много, да и покупать он ничего не собирался. А когда он закончил свой обход и отыскал стенд с афишами и объявлениями, то совсем расстроился: в городке на сегодня не намечалось ничего интересного, а картину, которая шла в кинотеатре, он уже видел, причем дважды.

«Что же делать?» – раздумывал он, стоя у афиши и рассеянно поглядывая вдоль улицы, присматриваясь к редким прохожим. Наконец он остановил одного из них — рослого мужчину в ватнике и валенках с галошами, по виду явно местного:

- Скажите, пожалуйста... А что у вас вон там? В монастыре?
- В монастыре-то, сказал мужчина. А чего там... Монастырь был. Ну, турбаза там есть. Живут. Памятник архитектуры, в общем. Да, еще музей там есть.
- Музей? заинтересованно переспросил Соснов. А далеко дотуда идти?
- Музей, удовлетворенно подтвердил мужчина. Музей у нас. А дойти тут просто, тропка тут есть. Во-он туда идите. И всего-то с километр тут.

«Доплетусь», – решил про себя Соснов и, прихрамывая, стал спускаться к озеру.

Тропка отчетливо выделялась даже издали. Снег уже начал оседать, уплотняться, и тропинка возвышалась теперь над снеговой поверхностью небольшой дамбочкой. Прямая, как по линейке проведенная, она вела точно к острову, к высоким голым деревьям, к стенам древнего монастыря.

Соснов шагал по ней, поскрипывая ботинками. Отойдя на порядочное расстояние, обернулся, посмотрел на городок, поднимавшийся от озера амфитеатром в гору. Городок был весь залит солнцем, синие глубокие тени косо ложились от домов на заснеженные улицы. Отсюда были видны ж вокзал, и водонапорная башня, и ресторан, и кинотеатр — да весь городок был как на ладони. И он подумал, что ведь местечко-то красивое. А весной или летом с озера оно должно выглядеть прямо-таки чудесно.

«Приеду, – решил он. – Не в первый ведь раз, да, наверное, и не в последний».

Монастырь вставал из плоскости озера полуразрушенными, но все еще могучими, мощными стенами. Купола собора были темны и мрачны. Мрачными казались на фоне каменных стен и голые сейчас столетние дубы и липы.

«Что твоя тюрьма, – отметил Соснов, – но когда деревья зазеленеют, все должно выглядеть здесь по-дру-гому».

Музей размещался в бывшей трапезной, большой зал которой был разделен на комнаты. Тихая старушка продала Соснову билет, сообщила, что директор ушел в отдел культуры и что значительная часть экспонатов музея брана юными следопытами соседних школ района. Обязанности старушки на этом кончались, и Соснов пошел по комнатам, осматривая экспонаты довольно бегло, только иногда задерживаясь у предметов, чем-либо остановивших внимание.

Музей был обычным районным краеведческим музеем. Составители экспозиции старались воссоздать историю района и города от палеолита до наших дней. И были здесь окаменелости, кости, каменные топоры, утварь крестьянской избы, макеты стоянок первобытного человека, пост роек, бань, плотов. И лосиные рога, и коллекция позеленевших монет, и икона новгородского письма, и портреты каких-то вельмож, и берестяные лапти, и огромный амбарный замок... Да мало ли чего здесь не скопилось за долгие годы любительского собирательства.

Так, переходя от экспоната к экспонату, гулко шагая в абсолютной тишине помещения, дошел он до стендов фотографиями героев Отечественной войны. Прочитал машинописную страничку, где сообщалось, что фронт проходил в девятнадцати километрах от городка, но городок немцам так и не удалось взять. Впрочем, он это знал и раньше: сам воевал и был ранен и контужен в этих местах. Просматривая множество фотографий, вырезок из фронтовых газет, он лищь ненадолго задерживал взгляд на лице и подписи под фотографией и переходил дальше. Мысли его, нечеткие и рассеянные, вдруг как-то собрались и унесли его туда, под деревню Лотушкино, где он чудом остался жив.

Вдруг внимание Соснова привлекла пожелтевшая вырезка из газеты. Он еще не прочел написанного под портретом в траурной рамке, а не мог отвести взгляда от фотоснимка. Чем-то притягивало его это молодое лицо, какой-то странной похожестью...

– До чего же знакомое лицо, – пробормотал он, сосредоточиваясь на изучении черт на самом деле очень знакомого лица, и неожиданно вздрогнул, поняв, что смотрит... на самого себя...

- Вот черт! - тихонько ругнулся он и провел рукой по сразу вспотевшему лбу. – Своих не узнал...

В заметке под траурной фотографией говорилось о подвиге лейтенанта Владимира Соснова, о том, как он личным примером вдохновлял бойцов, как подбил вражеский танк, как первым ворвался в окопы противника и пал смертью храбрых в бою под деревней Лотушкино.

Он видел эту заметку с фотографией еще в госпитале, когда к нему вернулось сознание. Сообщение о его смерти было ошибкой, но ошибался не один корреспондент, а вся часть, где он служил. Всем показалось, что оп был растерзан гусеницами трех танков, шедших один за другим. А он, раненный и контуженный, лишенный сознания, был засыпан землей во вражеской траншее. А потом был обнаружен санитарами из другой части, долгое время не приходил в сознание и в госпитале, но все-таки выжил. А газета и его боевые товарищи справили по нему поминки раньше времени.

Рассматривая знакомую вырезку, Соснов как-то криво усмехнулся и все вспоминал, вспоминал... Но наконец встряхнулся и подумал, что надо сказать, чтобы эту заметку сняли, дескать, вот он, Соснов, стоит здесь живой, как ни в чем не бывало.

Но тут он сообразил, что в музее он один, директора нет, говорить, кроме как с тихой старушкой, не с кем, и решил позвонить завтра, из города. Прошел по другим комнатам, кончая осмотр, но не выдержал, возвратился, еще читал заметку и вглядывался в фотографию, бормоча:

— Вот уж действительно... Знакомое...

Выйдя из музея, он хотел заглянуть в собор, где, как сообщила старушка, сохранились ценные фрески, но раздумал. Настроение было не то. Все вспоминался бон под Лутошкином, виделся, как наяву. И госпиталь... К тому же день переходил в вечер. И Соснов пошагал в городок.

А и хорош же был городок на закате: такой тихий, такой русский, такой снежный, золотой под лучами и мирный. Небо уже принимало сиреневую окраску ранней весны, воздух бодрил, дышалось и шагалось легко, А ему все виделись разрывы снарядов и прущие на него вражеские танки, И даже гарью, казалось, наносило откуда-то.

«Надо, надо сказать, чтобы сняли ее»,— повторил он про себя, думая о заметке и фотографии, и вдруг задал, себе вопрос, сказал вслух так, что даже остановился:

А зачем?

«Действительно, зачем? – говорил он, шагая дальше.— Пусть себе висит. Скажешь – так только лишний интерес к своей особе привлечешь. Каждому объяснять придется. Обязательно бойкий журналист найдется, напишет. Висела до этого, так и виси».

Он шел не торопясь. И вечер был чудесным, словно природа задалась целью приободрить, успокоить путника. Но думы Соснова были нерадостными, изрядная доля горечи вплеталась в них.

«Виси, – повторил он. – Да и чего общего у меня с ним... Только и есть, что имя и фамилия одинаковые да общие отец и мать».

Он вспоминал восемнадцатилетнего Володю Соснова — рослого спортсмена, бегуна, прыгуна, разрядника, мечтавшего стать мастером спорта. И чувствовал, как неверно и робко ступает по тропке искалеченная нога, острее ощущал, как ломит четырежды раненное, трижды контуженное тело.

Он думал о красавице Наташе, которая должна была стать Володиной женой, да не дождалась, когда он наконец разгромит немцев и японцев, и вышла себе замуж.

Он оживлял в памяти радужные Володины мечты, большие надежды стать выдающимся математиком, кончить университет, и учиться дальше, и отдать всего себя науке. И припоминал, как после боев и госпиталей пришлось не учиться, а работать, работать, работать. Поднимать братишек, сестренок, учить, отправлять в жизнь, в самостоятельное плавание.

Думал Соснов о Володе, который мог бы, наверное, да стал бы, конечно, стал бы ученым, окруженным любящими талантливыми учениками, и знал, что придет сейчас в гостиничный номер, такой обычный номер, которые давно пригляделись ему, рядовому снабженцу, вечно разъезжающему по командировкам.

«Нечего и тревожить старое! – сказал, даже приказал он себе. – Никакого ты права не имеешь распоряжаться, снимать

8 Возвращение 113

или не снимать ту фотографию. Это его дело висеть там. А вы с ним – разные люди. Ведь между вами не просто расстояние в два-три десятка лет. Между вами – война!»

Он усилием воли отогнал возникающие в его воображении картины прошлого, заставил себя не думать о нем. С годами он все-таки научился освобождаться от тоски, от воспоминаний не при помощи лекарств, а собирая волю в кулак, приказывая себе переключиться на другие мысли и раздумья. Нередко такое умение очень помогало ему. Помогло и сейчас.

Через минуту он уже не думал ни о фотографии, ни о монастыре, ни о прошлом. Шел к начинавшему темнеть городку, к редким пока огням, загоравшимся в некоторых окнах, к телевизионной вышке, верхушка которой еще плавилась в закатных лучах. И думал о завтрашнем посещении завода, планировал завтрашний рабочий день.

Виктор Веселов

СТОГ

Послевоенная Россия Почти поладила с бедой, Взгляд со слезой оттает синий, Как будто дождик над рекой.

Ждет сына мать: а вдруг вернется, Хотя сказали, что убит. Соленый ветер губ коснется . И в поле снова улетит...

Спешит, культю как штык втыкая, Глава колхоза «Красный луч»:

— Погода, бабоньки, какая...
Скорей копнить, пока нет туч.

Все бабы, девки, пацанята, Подростки хлипкие, дедки. Война—поганка виновата, Что поредели мужики.

На бабе все: хозяйство, хата, Затопит печь, наколет дров. И от рассвета до заката Она с колодезным ведром,

С лопатой, с граблями, с ухватом, С бельем нестиранным, с вальком, Со словом ласковым и с матом. Порой бывает под хмельком.

... Стогуют сено. Стог растет С соленой шуткою в придачу. Одна на вилах подает, Другая граблями затащит. А дед Гаврила, старый вол, Хотя кряхтит, но все приметит: — Прикрыла б, сватья, ты подол, Глаза болят, уж больно светит.

И хохот, словно звонкий град. И с бабами смеется лето: Все нараспах и нарасхват, Да покупателей все нету.

Трамбует сено босый люд, Под ноги вновь охапку бросят, Рукою пот со лба сотрут И за плечо откинут косу.

Вот стог готов. Плечист, высок, Слетают на руки девчата. Опять прищурился дедок: — Со зреньем снова плоховато.

С лугов прохлада подойдет, Коснется губ, горячей кожи. И песня облаком плывет К деревне, на вдову похожей...

Александр Целищев

Дед строгает тесины — Бабке делает гроб. Стружки пухом гусиным Оседают в сугроб. Вот у деда скатилась Одиноко слеза. И о доску разбилась. P—раз!

Рубанок слизал. А в передней — старушка С неподвижным лицом... P-раз! И новая стружка Обернулась кольцом. Дед рукою мосластой Гладит стружки И вдруг: «Здравствуй, милая, здравствуй, Дорогой ты мой друг». В кольцах тонких, пахучих Заблудилась рука: «Помнишь, милая, случай? Ты прости старика. Вот построю скворешню, — И весна прилетит. Насорил – то я, грешный, Hy – ка, мать, подмети...»

ЗАКЛИНАНИЕ

Что ни ночь, то и ворох снов. Этим жизнь не хочет обидеть. Папа, видел ты трех сынов, А меня не пришлось увидеть. Знаю я, не твоя вина, Ты ведь ждал. Говорила мама... Виновата во всем война. Ой как ждать оставалось мало!

Ты пришел бы хоть раз во сне. Слышишь, папа, Что тебе стоит? На земле сейчас первый снег. Приходи! Слышишь, сердце стонет?

Приходи ко мне до зари. Путь далек. Но ведь ты отважный. Нам бы надо поговорить. Хоть немного. О самом важном.

Мы обнимемся по-мужски. Не постыдны порою слезы... Над тобою лежат пески. Надо мною шумят березы.

Каждой ночью все сны и сны, Только встречи желанной нет. Лишь дождусь я новой весны И куплю на поезд билет.

Будет наша встреча горька... Вот и новой весны предвестники... Между нами годов река. Скоро станем с тобой ровесники.



Уходят дети военного времени ПРОЩАНИЕ

ЛЕОНИД АНАТОЛЬЕВИЧ ФРОЛОВ родился 6 августа 1937 года в дер. Большая Медведица Павинского района Костромской области. Закончил Павинскую среднюю школу (1954), Вологодский пединститут. Работал в районной газете г. Никольска (Вологодская обл.) в вологодских областных газетах «Вологодский комсомолец» и «Красный Север», в ЦК ВЛКСМ.

Печататься начал в школьные годы в павинской районной газете. Первая книга — «Дорога. Записки комсомольского работника», вышла в Северо-Западном издательстве в 1966 году. Рассказы и повести Л. Фролова печатались в журналах «Москва», «Наш современник», «Дружба народов», «Юность», в «Роман-газете», переводились на немецкий, венгерский, болгарский, румынский, польский, чешский и словацкий языки.

Л. Фролов – лауреат премии им. Н. Островского (1980), премии ВЦСПС и Союза писателей РСФСР за 1989 год. Заслуженный работник культуры РСФСР. Награжден орденом Дружбы народов. С 1985 года – секретарь Союза писателей РСФСР.

Изданы широко известные книги «Полежаевские ягоды», «Сватовство», «Во бору брусника», «За полями, за лесами», «Верность», «Летающие тарелочки», «Украденная невеста» и другие.

Нетрудно узнать по этим книгам, какая земля вдохновляла писателя. Многое из того, что издано, имеет корни на родине, в Павинском районе. Но замысли уже не превратятся в книги

* * *

Ушел из жизни Леонид Фролов, писатель и редактор, многолетний сотрудник журнала «Наш современник».

Десять лет (1970—1980 гг.) Леонид Анатольевич был «правой рукой» тогдашнего главного редактора С. В. Викулова. Эти годы в жизни нашего журнала были ознаменованы выходом в свет лучших произведений таких крупных мастеров русской прозы, как Василий Шукшин, Василий Белов, Валентин Распутин, Евгений Носов, Гавриил Троепольский. Затем почти двадцать лет Фролов был главным редактором, потом директором крупнейшего в советские годы российского литературного издательства «Современник».

Навсегда останется в нашей памяти образ этого замечательного человека: его дружелюбие, скромность — и непреклонная твердость характера, когда дело шло о защите нашей словесности от дешевой конъюнктуры, ложного пафоса, безответственной игры в угоду невзыскательной литературной моде. Он был образцом подлинного трудолюбия и самоотдачи — пусть подчас и в ущерб личным творческим замыслам.

Он был... С каким трудом выговариваются сейчас эти слова. Прощай, друг! Ты прожил честную, славную, нужную жизнь!

Коллектив «Нашего современника»

ЗАВЕТНЫЙ ЖЕМЧУГ

21 апреля в Галиче близкие и родные, коллеги, друзья, земляки прощались с известным русским поэтом, Лауреатом литературной премии ЦФО и нескольких других премий Виктором Михайловичем Лапшиным. Скоропостижная кончина его многих остановила на пути, заставила размышлять о трагических судьбах творческих работников...

Иногда необходимый поэт открывает пространство, в котором мы не бывали еще или призывает туда, откуда мы родом и возвращает забытое доброе самочувствие, ощущение естественной жизни. Общество питается пиар-продуктами, людям предлагают не останавливаться, не задумываться, отчаянно участвовать в конкурентной гонке, забывая о том, что суета разворовывает время и лучшие качества человека. И потому поэт несколькими строками, даже одной-единственной иногда останавливает:

«Даже гениев мысли напрасны,/Если гибель кругом, нищета»

«А нужно любить Россию, проездиться по России» (Пожелание Н.В. Гоголя) Чтобы любить, оказываемся призванными на глубинное узнавание Родины не ради суетливой крикливости. Необходимо узнавание божественного предназначения. Для очищения и укрепления души, для будущих вольных песен... «Проездиться» можно предначертанными путями с помощью молитвы или поэзии, если она от Бога, если она расширяет и собирает пространство, заставляет плакать и смеяться просветленно. Вот так остановишься глянуть со стороны — повторишь в согласии с поэтом:

«И не смысл нашей жизни неведом, /А причина его глубины...»

Иногда за философией русского поэта Виктора Лапшина, знавшего на какой глубине народной жизни «заветный жемчуг копится», невольно забредешь в дебри слишком дерзких изысканий и осознаешь неподготовленность души: «Жить не диво безгрешным ангелом, / А попробуй-ка человеком...» В покаяниях грешному приходится потери считать не только

свои собственные, но за себя и других: «Слабо помнится, не предвидится,/ /Опорочено все, что есть./ Ошельмована слава витязя /И оратая в туне честь./ Тайным ворогам не в угоду ли /Умолчание да извет?/ Хитро предали, ловко продали —/ И виновных как будто нет...»

Напоминаю только штрихи сквозных направлений на много лет поэтического диалога со всеми ради всех. Приходится осмысливать не только географическое, провинциальное захолустье, но и свое собственное. Сначала вопросительно:»Как с такою глухою дырою/ Ты посмел свою долю связать?» А потом, прозревая, признаться, что забыл: «На этой земле неказистой просияли святые отцы». Но поэтам нередко кричали:

Как он смеет? Да кто он такой? Почему не считается с нами? — Это зависть скрежещет зубами, Это злоба и морок людской.

Строфа знаменитого поэта – память Виктора Лапшина о нем никогда не туманилась, собственную высоту полетного слова он уверенно набирал в философском сокровенном диалоге с Юрием Кузнецовым.

Есть еще одна вечная тема, о которой в суетливое время говорят редко.. Поэты признаются: «Ни на кого не обижаюсь, Хотя люблю еще не всех» Стоит ли виновато признаваться, когда существует массовый интерес к тому, что рекламно развращает, что днем и ночью идет девятым валом. Конечно, необходимо петь светлую любовь Помните, у Николая Рубцова:

Так зачем же прищурив ресницы У глухого болотного пня Спелой клюквой, как добрую птицу, Ты с ладони кормила меня?!

Возможно и Рубцов помогал Виктору перейти к тому, что вновь радует от древнего Галича дарением для всей России, для всех, кто способен воспринимать чудо русской поэзии – любовную лирику. Может быть, она выручала в минуты отчаянья или помогала иногда найти переход от «широких океанов ... и чудовищных сфер непостижимой Вселенной» к

естественному самочувствию и освежительному согласию души и сердца:

Тот день не погребли года, Хоть розно жили мы и разно: Жив миг покорного стыда И укрощенного соблазна. Не все заволокло былье...

В заветном жемчуге поэта многие найдут желание жить на земле чисто любящим человеком. Сегодня каждый сборник из всех изданных – от первого до последнего – может быть прочитан как исповедальный. Неужели все мы, знающие тернистый путь восхождения Виктора Лапшина на поэтическую высоту, под его настроение, прощаясь с предками, «в глухое поле уйдем и не посмеем оглянуться на то окно, на ту звезду, к которой больше не вернуться». (Это повторяю по заключительной строфе его давнего стихотворения «Прощание». 1975 год.).

Горько повторяли, прощаясь: «Что имеем не храним...» Слабыми вздрагивающими голосами читали стихи. В моей руке сама встрепенулась и раскрылась книга «Кольцо» с произведениями за двадцать лет — удалось осуществить в 1994 году приложением к изданию «Литературная Кострома» И почудилось мне: вспорхнула какая-то дивная птица, а вслед за ней над Балчугом, над озером полетели строки:

Я не спрошу, куда меня стремит Судьбины гнев на гибель своеволью: Где жило сердце— ноет и щемит,

Но уж ни с кем не поделиться болью.

Туда, туда в немую пустоту, Туда, туда, в трепещущую рану, Я всей землею страждущей врасту И быть собой — блаженно перестану.

И после этих строк поэт опять надеялся, что услышат, поймут прежде всего на родине в древнем Галиче, предназначение которого осмысливал он и воспевал. Мы к землякам и обращались за участием в издании избранных произведений

в сборнике «Дозор». До сих пор удивляюсь, сравнивая выходные данные сигнального экземпляра, подписанного мною в печать 15 марта 2000 г. с желанием войти в новое тысячелетие с однотомником в 500 экземпляров. Со всей России знатоки присылали письма сочувствующие и возмущенные с питатами от поэта.

* * *

Не одно, так другое воспрянет — В зыбкой силе, в неверной красе Сердцу внятно, как мир океанит И в слезе и в бессмертной росе.

И, за тайной без тайны спеша, Прозревающе, властно и сиро, Торжествует, томится душа Нищетой и величием Мира.

А костромские писатели обращались с просьбами в административные инстанции, иногда прикладывая копии таких писем издалека.

И что же? Шесть лет ожиданий потребовалось. Готовую книгу пришлось еще раз подписывать к печати 15 февраля 2006 года. И все еще в коробках мы храним предназначенное для Галича, но не востребованное количество экземпляров. Поэт ушел, а книги остаются. Они, по мнению талантливых людей, как и рукописи, бесследно не исчезают. Содрогнется кто-нибудь в прозрении? Непременно и запоздалое покаяние приходит. Виктор Михайлович даром поэтического предвиденья о многих печалях поведал. «Мы вечно слышим только то,/ Что нам хотелось бы — не боле». И только позднее возвращаемся к тому, что раньше не слышали, не чувствовали, не понимали.

Михаил Базанков



Содержание

Анатолий Передреев	4
От составителя	5
война и мир	
Война и мир	
Игорь Дедков	11
Сергей Фомин	14
Александр Зиновьев	15
Сергей Марков	21
Евгений Осетров	25
Алексей Румянцев	26
Юрий Баранов	28
Михаил Базанков	30
Владимир Корнилов	31
Вячеслав Смирнов	35
Виталий Пашин	36
Поздравление	39
Николай Востров	40
Василий Бочарников	42
Александр Часовников	44
Виктор Хохлов	48
Виктор Волков	50
Михаил Базанков	52
Василий Старостин	58
Николай Колотилов	59
Лев Кузьмин	62
Галина Милова	66
Евгений Старшинов	68
От составителя	69

ВЕНОК

от детей военного времени

Владимир Костров	70
Владимир Серов	73
Вячеслав Шапошников	
Анатолий Беляев	77
Сергей Потехин	
Леонид Попов	81
Нина Снегова	84
Станислав Михайлов	86
Владимир Максимов	87
Светлана Виноградова	90
Павел Мельников	91
Олег Хомяков	93
Николай Муренин	
Татьяна Дмитриева	
Алексей Зябликов	
Алексей Базанков	
Борис Гусев	
Леонид Воробьев	109
Виктор Веселов	
Александр Целищев	117
ЗЕМЛЯКИ	
Прощание с Леонидом Фроловым	120
Прошание с Виктором Лапшиным	124

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ И ДОЛГА

Второй специальный выпуск

Литературно-художественный сборник

Составитль, редактор — М.Ф.Базанков Дизайн, компьютерный набор и оригинал-макет — А.М.Базанков

Формат 84х108/32. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.п.л. 8. Заказ 7312. Тираж 500 экз.

Отпечатано в ГП «Областная типография им. М.Горького» г. Кострома, ул.П.Щербины,2.